

● ПРЕДЛАГАЕТ ХИМЧИСТКА

Чтобы складки на юбках или брюках были всегда тщательно отглажены, не обязательно каждый день браться за утюг.

На предприятиях химчистки на юбках и брюках делают несминаемую складку.

Такая складка не разойдется даже в сырую погоду.

Росбытреклама



ОГОНЁК

№ 36

1988



Станислав РАССАДИН

РАСПЛЮЕВ И ДРУГИЕ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 36

Станислав РАССАДИН

РАСПЛЮЕВ И ДРУГИЕ

СТАТЬИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Станислав РАССАДИН

Станислав Борисович Рассадин родился в Москве в 1935 году. В 1958 году окончил филологический факультет Московского университета, после чего работал в «Литературной газете» и «Юности», а потом лишь писал и печатался. Постоянно — с 1959 года.

Член Союза писателей, член Союза кинематографистов. Автор множества статей по проблемам современной и классической русской поэзии, драмы и прозы, о кино, телевидении, театре, о детской литературе и эстетическом воспитании, о поэтах народов СССР.

Издал около двух десятков книг, в том числе: «Обыкновенное чудо» /1964/, «Книга про читателя» /1965/, «Так начинают жить стихом» /1967/, «Драматург Пушкин» /1977/, «Фонвизин» /1980; в 1985 году книга переиздана под названием «Сатиры смелый властелин»/, «Круг зрения» /1982/, «Спутники» /1983/, «Испытание зрелищем» /1984/, «Никогда никого не забуду» /1987/, — это биографическая повесть о декабристе Иване Ивановиче Горбачевском.

...ВСЕ РАЗРЕШЕНО?

- Да не согласен я.
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, — ответил Шариков.
- Это замечательно, клянусь Богом... А что бы вы со своей стороны могли предложить?
- Да что тут предлагать?.. Пишут, пишут... Голова пухнет. Взять все, да и поделить.

Михаил Булгаков «Собачье сердце».

В начале шестидесятых, в молодости моей, когда, как на зоосадовской площадке молодняка, еще казалось возможным резвиться рядом с неопасным по причине юности литературным хищником (даже если клыки уже прорезывались), был у меня разговор с начинавшим тогда стихотворцем.. Назовем его вполне условно: К.

— Сейчас в России только два настоящих поэта!

Это он, стало быть, мне. И поскольку его мнение относительно собственной персоны было яснее, чем его зреющий (и, ох, как же вызревший!) нрав, вдобавок ходил он в эпигонах у Бориса Слуцкого, то я, казалось, не рисковал ошибиться:

— Понятно. Первый, естественно, ты. А второй? Слуцкий, что ли?

— Не-ет! Слуцкий — барахло. Я и П.— И тут же спохватился.— Что это я? Не два поэта — три... Еще Ахматова!

Тогда мне пришло в голову только руками развести, а сейчас вижу: неглупо было сказано, даже если снисходительное решение взять Анну Андреевну в компаньонки диктовал не расчет, а животная жажда самоутверждения. Дележка! Да, да, дележка! Ахматова плюс наши К. и П.— все это, поделенное на три, дало бы ощутимую величину. Как говорится, строго поровну: один конь, один рыбчик.

Предполагал ли провидец Булгаков, что лозунг его незабвенного Шарикова (см. эпиграф) возьмут на вооружение литераторы?

Взяли.

Лет двадцать с лишком тому назад скромная эрудиция читателей нашей журнальной поэзии испытала шок. В журнале «Октябрь» (той его мрачноватой поры, что теперь вспоминается как «кочетовская») под именем «Василий Журавлев» было напечатано стихотворение, многих заставившее предположить у себя явление галлюцинации:

Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер нежен и упруг.
И легкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поешь.

Да! Знаменитое, классическое, ахматовское — из 1915 года...

Курьез тут же был изобличен «Известиями», а после даже увековечился Краткой Литературной Энциклопедией, томом пятым, статьей «Плагии», где Журавлев и вошел наконец в историю между «неким Ногтевым», обокравшим Пушкина, и (шутка сказать!) самим Дюма-отцом, также согрешившим по этой части, — словом, с точки зрения морально-юридической все прояснилось и определилось.

Есть тут, однако, еще одно обстоятельство.

Стихотворец, пойманный на месте, повинился печатно, объяснив, что когда-то переписал ахматовские стихи (правда, не очень понятно зачем, но вряд ли с тем, чтоб носить на груди, как ладанку: очень помню случай, когда Журавлев глумился над еще здравствовавшей Анной Андреевной), а годы спустя нашел и принял за собственные, после чего и опубликовал, **слегка исправив**.

Объяснение было таким простодушным, будто перепутались не стихи, а галоши. Но речь не о простодушии. Речь об исправлениях.

Каюсь: я передернул, приводя стихотворение. Не хватило духу дать его без предупреждения в увечном виде, а оно именно изувечено, даром что всего двумя взмахами ножа. Было: «...Шумят деревья весело-сухие». Стало: «...Шумят в саду кустарники нагие». Было: «...И дома своего не узнаешь». Стало совсем умирительно: «...Идешь — и сам себя не узнаешь». Было: прекрасно. Стало: никак.

Сменить трепет «весело-сухих» деревьев, веселых, может быть, потому, что — уже — сухие, принадлежащие предвесенней поре, когда снегопада не ждут, снег слежавшийся, «плотный», а время дождей еще не пришло, сменить это на нагие кустарники, ничего не значащие, может, зимние, может, осенние, — это постричь строки под нуль. А правка вторая? «...И сам себя не узнаешь»? Да что рассуждать, если это уже не Ахматова, это Агния Барто: «До того я стал хороший — сам себя не узнавал!»

В общем, будто каток асфальтовый прошелся по стихам, сровняв их до... Чуть не сказал: до среднего, дескать, уровня, — но бывает ли он, возможен ли он в поэзии?

Само по себе это понятие вовсе не уничижительно — даже в применении к искусству (и уж тем более в наших условиях поголовного непрофессионализма, когда ремесленной литературой называют, думая, что обругали, такую книгу, где ремесло, рукомесло и не ночевали). Без малейшего отвращения представляю себе никак не больше, чем среднюю книгу прозаика, в которой отсутствие индивидуальности и недостатка таланта (ну, не дано, что поделаешь?) хоть отчасти да возмещены то ли неким необщедоступным знанием, то ли новооткрытием проблемы — да мало ли чем еще? А в поэзии... Нет, нет! Личность весьма среднего качества, посредственность — привлечет ли нас этакое там, где человеческая неповторимость и есть главнейший критерий? Кому любопытна в поэзии усредненная, стало быть, и все вокруг себя усредняющая сила? Стоит ли ей вообще браться за перо ради самовыявления и самоутверждения?.. Впрочем, стоп. Последний вопрос, к сожалению, глуп или по меньшей мере наивен. То-то и беда, что берутся, и тем ретивее, что заурядность и бесталанность сомненьям, как правило, не подвержены. А уж взявшись, насаждают повсюду — да вот хоть и в ахматовском стихотворении, подвернувшемся под руку, — свой уровень. Средний? Нет, именно никакой. Уровень воинственной примитивности, — она ведь невоинственной не бывает, ибо к созиданию неспособна.

Для меня история журавлевского плагиата — вроде как притча. Или учебный стелд, на котором все так наглядно. Вдумаемся! Как бы ни ненавидел Журавлев Ахматову, уж эти-то ее стихи он принял за собственные, их-то калечить ему никакого резону не было, — а и тут рука потянулась «исправить», испошлить, изгадить. Вот что за неотвратимая сила!

Но это еще идиллия. Так ли коверкают, таким ли катком проходятся по живому, когда это живое — чужое, чуждое?

Открываю «Литературную газету» (1988, № 12). «Куда ведет «ариаднина нить?», статья Татьяны Глушковой, и всякий, кому хоть чуточку ведом нрав критикессы, уже в заглавии может почуть грозу и угрозу. «Куда ведет?..» А может, куда заводит? (Тем паче, что после выяснится: «нить» не что иное, как огоньковская антология русской поэзии под редакцией Евтушенко, с точки зрения Глушковой, злокозненная.) В общем, чур меня, чур!

Предвзятость, однако, отнюдь не из читательских добродетелей, и потому пристыженно радуешься, увидев, что суровый автор все ж доступен простым нашим нынешним радостям: «Воскрешение имен Н. Гумилева, Г. Иванова, В. Набокова, Вл. Ходасевича, как и обнародование доселе скрытых страниц М. Булгакова, А. Платонова, Н. Клюева, А. Ахматовой, М. Кузмина, Е. Замятина, Б. Пильняка и других, — своего рода праздник литературы...» Это первая фраза заметок, и в ней даже оговорочку «своего рода праздник» (то есть да, праздник, но вроде и не вполне

не) благодарно проглатываешь, торопясь примкнуть и к последующему заявлению: что эти богатства, эти дары «требуют духовного, а не бездумно заздравного лишь отношения, ждут суда с точки зрения многовековой культуры».

А как же! Разумеется, ждут, всеконечно, требуют, больше того, заслуживают именно такого суда — «с точки зрения многовековой культуры», но вот загвоздка. Пока начинаешь робко прикидывать: кто-де возьмет на себя сверхсмертность занять эту точку зрения, да не есть ли она, эта самая точка, достояние Истории, как вдруг примечаешь: смельчак-то сыскался. Вакансия занята. И на «празднике» начинает безотлагательно пахнуть скандалом.

Усыпив нас, простофиль, вступительным благодушием, Глушкова меняет тон на сухо-презрительный: «...Я поведу речь именно о средствах нынешней литературной пропаганды — величальных комментариях и горячке «победных» выводов о превосходстве пролежавшей под спудом литературы над всей прочей». А хлестче всего достанется величающим «четверых» — Ахматову, Пастернаку, Мандельштаму, Цветаеву, да заодно и самой четверке. Ибо вы только подумайте, а подумавши, ужаснитесь, до чего ж распоясались эти хвалители: «великий русский поэт Мандельштам» (кошмар!), «великий поэт Цветаева» (караул!)... ну и так далее.

Дело-то не новое. Вспоминаю: «Политическая его реабилитация не есть повод для захваливания его как писателя» — это об Артеме Веселом: радуйся, мол, что «простили» посмертно, а уж на большее — ни-ни! Или о Павле Васильеве, который, по суждению критика, погиб-то, может, и рановато, однако как о поэте о нем жалеть нечего: о Васильеве, видите ли, «стали поговаривать как о русском советском поэте незавершенных возможностей. А это, по моему глубокому убеждению, неверно и вредно». Так-то. Только-только после XX съезда невинную кровь признали невинной, как встрепенулись тогдашние сторожевые: ах, не перереабилитировать бы! Ах, только б без крайностей! Чтоб не нарушился заведенный порядок, не потускнели сталинские медали...

Это не архивные разыскания, — беру чужие страшноватенькие цитатки из собственных полемических рецензий, печатавшихся в 60-х в журнале Твардовского. Так что когда нам и нынче твердят, имитируя благородную озабоченность: «хорошо, что напечатали, но... гласность — это чудесно, однако...», — не надо ни удивляться совпадениям, ни надеяться, что прошлые уроки всем впрок. «Механизм торможения» на редкость однообразен и нехитер — возможно, по причине своей серийности он, увы, и не дает желанных для нас сбоев.

Надежность этого механизма в том, что он своей упрощенности не стесняется. Ему кол на голове теши, ему доводы, факты, а он... К примеру, среди того, чему мы наконец выплачиваем дань, — великая роль «Нового мира», того, затоптанного и уничтоженного. Но это — мы. «А я счи-

таю, что в общественной жизни участвовали одновременно и «Новый мир», и «Октябрь» (Анатолий Ланшиков).

Вообще-то, конечно, «одновременно». Правда, один строил, другой разрушал. Один боролся со сталинизмом, с «застоем», погибал и погиб в этой борьбе, другой сталинизм воскрешал, а «застой» культивировал. Но — какая разница? «Все поделить»!

Уравниловка — вот, так сказать, Смердяков демократии; катком по живому — вот ее, уравниловки, идеал, а если удастся, то и результат (чтобы не отличить, где Ахматова, где Журавлев, где «Новый мир» Твардовского, где кочетовский «Октябрь»). И в статье Глушковой, о которой нам еще рано забыть, все это предстает, быть может, особенно страшно, кроваво, — потому что статья садистически бьет не по общим проблемам и суммарным явлениям, когда даже инсинуацию можно — отчего бы и нет? — объявить концепцией («а я считаю...»), но по тому, что действительно кровоточит. По людям, по их жизни — и смерти.

Юрий Карякин писал, что знает людей, выдавших Цветаеву, детьми, но по сей день совестливо мучающихся за ее смерть; Белла Ахмадулина сказала, в общем, то же: «**Людам трудно, они страдают из-за Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама...**» — и можно ль найти нечто, говорящее против этих людей, против их возвышающего сострадания?

Можно. Все можно.

«Поле страданий людей не вымерить рекламным оплакиванием **избранных**. (Или — «пантеона **отборным** мученикам», как еще ядовитее съёрничает Глушкова.) Довольно вспомнить: когда в Елабуге (**в августе 1941 года**) кончила жизнь не нашедшая «понимания» поэтесса, «момент отчаяния» **превозмогала вся страна** и «нерешенный», **висящий вопрос** жизни или смерти... над **Россией** заслонял» в глазах каждого патриота «все другие предположения», чувства, обиды».

«Страшно перечить...» Чему это столь непримиримо противопоставлен здесь патриотизм? Да, мы еще не разучились читать черное по белому: способности сострадать всякой отдельной судьбе. То есть тому, что человека отличает от нелюди.

Гипотетический «патриот», каковой, согласно Глушковой, обязан быть глух к цветаевской смерти или по крайней мере не сострадать ей самой по себе (на всех, мол, не напасешься), — чудовище. По счастью, в самом деле из гипотезы, из алхимической колбы. А сама Цветаева здесь — не великий поэт... Да это ладно!.. Не исстрадавшаяся женщина, не живая душа, по одной по этой причине вызывающая к сочувствию, а — **щепка**. Из тех, что будто бы и должны лететь, когда рубят (вернее сказать, вырубают) лес.

Безнравственно? Кошунственно? Да, да, вероятно, и это... Но отчего-то избегаешь патетики. Может оттого, что и цели автора статьи... ну, скажем, прагматичнее.

Понять великую душу непросто. Восхититься ею необходимо. Не для нее, для нас.

Вот отрывок из письма,— поэт пишет поэту:

«Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливы в любом положении, даже в горе».

«...даже в горе». Запомним. И пойдем вчитываться дальше, по мере сил постигая секрет такого счастья:

«...Прирожденный талант есть детская модель вселенной, заложенная с малых лет в ваше сердце, школьное учебное пособие для постижения мира изнутри с его лучшей и наиболее ошеломляющей стороны. Дарование учит чести и бесстрашию... Одаренный человек знает, как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно».

Письмо счастливого человека счастливому человеку. Даром, что первый из них, Борис Пастернак, в эту пору — 1948 года — в загоне, а второй, Кайсын Кулиев, в ссылке. «...это второстепенно». Даже это — вот понимание счастья, до которого нам подниматься и подниматься.

«Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми...», — щедро сказал Пастернак молодому ссыльному горцу. Поразительное совпадение! Ведь четверть века раньше в книге «Зоо или письма не о любви» Виктор Шкловский писал о самом Пастернаке: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим».

К несчастью, последняя фраза вышла плохой угадкой. Но, как оказалось, по сути это ничего не переменяло — не в судьбе, а в душе Пастернака. И это не олимпийское умение стать над судьбою, нет; это человеческое умение, одолев ее, не получить надрыва, не заболеть озлоблением, остаться естественным...

Итак, «счастливая позиция в жизни может быть и трагедией», но «это второстепенно». Надо быть счастливым «в любом положении, даже в горе». Это, если угодно, подвиг душевного самовоспитания, впрочем, неотделимый от совестливого беспокойства: «...За последние пять лет я так привык к здоровью и удачам, что стал считать счастье постоянной принадлежностью существования», — можно ли эти слова из письма 1946 года понять вне духовного контекста, вне пристрастной занятости «детской моделью вселенной», которая, то есть занятость, вероятно, лишь пошляку покажется эгоцентрической? «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой»...

Хотя что я мелю? Мы же убедились: можно. Ежели нужно. И вот Татьяна Глушкова для разгона дает выволочку «Огоньку», вздумавшему письмо напечатать. А потом... Но бедный стереотип, известный нам по расправе с Цветаевой, которой отказано в праве на индивидуальное со-

чувствие, не дает возможности не угадать, как разделяются и с Пастернаком. Очень просто. Итак, значит, писано в 1946-м? Сорок шесть минус пять... Ага! И начинается. Военные беды, послевоенный голод — все пережитое страной за пятилетие с пафосом самовозбуждения ставится в строку не тем, кто в этом повинен, а поэту. Дабы уличить его... В чем? В непатриотическом сознании? В деревянном равнодушии к судьбе народа?

А впрочем, ладно. Куда ни шло. Ставлю эксперимент. Против воли и здравого смысла допускаю невозможное — то, что криминальная фраза впрямь содержит в себе нечто достойное осуждения. И если так, тогда... Вот и подумаем: что тогда? Радоваться нам, что ли, что (предположим) поймали большого человека на мелком чувстве?

Вообще предвижу для Глушковой все расширяющееся поле деятельности. Надо надеяться, больше и больше станут раскрываться архивы, умножатся публикации дневников, писем и — ух, как можно будет поживиться на оговорках, противоречиях, необдуманностях! Люди ведь, как известно, под одеждой сплошь голые, и всегда можно сыскать прореху, дабы жадно узреть интимнейший уголок тела.

А на худой конец сгодится и давнее наше наследие. Пушкин, скажем, в год декабристских суда, казни и ссылки чем не пожива? Чем не повод заулюлюкать: что поддывал? О чем писал из Михайловского друзьям? О «Вавилонской блуднице Анне Петровне»? О том, что, мол, «письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил»? Каков?

Правда, этот род критики Пушкин уже предусмотрел; цитирую, ни в кого отдельно не метя (тем паче — эвон когда написано!) и не боясь чрезмерной известности цитаты (такое, увы, постареет еще не скоро): «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе».

...И все же — зачем это? Ради чего? Неужто лишь для того, чтобы получить (правда, очень понятное) удовольствие от «унижения высокого»?

Нет, не только. И прежде всего будем реалистичны: каждого хватает на то, на что хватает.

«Величайший русский писатель — Пушкин! Все понимал, обо всем догадывался, все умел. Одно проникновение в образ Петра чего стоит! «Уздой железной Россию поднял на дыбы!» Вершина его творчества — «Борис Годунов»: «Глупый наш народ легковверен: рад дивиться чудесам и новизне: а бояре в Годунове помнят равного себе... Если ты хитер и тверд...» Точно сказано! «Глуп и легковверен» — сущность народа. «Хитрость и твердость» — сущность ЕГО власти. «Помнят равного себе» — сущность ЕГО противников».

Сталин. Тот, чью семинарскую нормативную логику замечательно угадал в «Детях Арбата» Анатолий Рыбаков. (Предполагаю, что этим сопоставлением польстил иным из моих оппонентов, но на что не пойдешь ради ясности?)

Пушкин, взятый на вооружение тираном, — картинка, что говорить, из самых противостественных, но ведь было, было! Из Пушкина, из Лермонтова, из Толстого, из Чехова вычитывали — и целые поколения принуждали вычитывать — идеи безжалостности, презрения к слабым, отвращение к «абстрактному гуманизму». Все ради цели, которая не оправдывает средств, зато умеет их отбирать, подлаживать под себя, так что неразборчивость в средствах становится (допуская) попросту незаметной, и (чем черт не шутит), возможно, и вправду те, что ставят на одну высоту старый «Октябрь» и «Новый мир» Твардовского или уличают Пастернака в сытом равнодушии к народной трагедии, искренне потеряли возможность отличать добросовестность от передержек?

Во всяком случае, утрата чувства реальности порою доходит уже до утраты элементарного чувства юмора, — а это уж, воля ваша, третий звонок, последний сигнал тревоги!

«Вспоминаю... статью Лакшина в «Известиях». Так далека от взглядов А. Твардовского эта статья! Своим догматизмом, своим неприятием той правды, что есть в прозе В. Белова».

Это вновь Ланчиков, и, казалось бы, самая легкая предрасположенность к тому, чтобы распознать комическую или конфузную ситуацию, должна была остеречь его от роли... Да, да! От роли самозванного душеприказчика Твардовского, чье место в нашей культуре он не совсем ясно отличает от кочетовского; душеприказчика, который чистым именем Александра Трифоновича берется клеймить его близкого друга и ближайшего единомышленника.

А чего бояться? «Нету их. И все разрешено».

Кто позабыл, откуда это, напомним. Из Давида Самойлова:

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.

Таков голос деликатной неловкости, спутницы таланта. «Тянем, тянем...» — до очевидности несправедливо говорит о собственном слове один из блистательных его мастеров, но чаще, увы, осознание, что их «нету», внушает дикую радость вседозволенности.

Не раз и не мною сказано, что именем Твардовского нынче клянутся, к авторитету Твардовского прислоняются даже те, кто весьма поостерегся бы приблизиться к нему при жизни, и вот в этом смысле Ланщиков высказался (или проговорился) опасно.

Читатель «Огонька» москвич Е. Г. Вал в 10-м номере посетовал, отчего авторы «письма одиннадцати»¹, сыгравшего роковую роль в жизни «Нового мира» и великого его редактора, до сих пор не покаются; как нарочно, Владимир Лакшин, отвечая недавно по телевидению на схожий вопрос, незлопамятно сказал примерно следующее: это, мол, не совсем так, двое-трое из подписавших как-то подходили к нему и просили снять грех с души — поддались уговорам, смалодушествовали...

Слышать такое приятно, огорчает разве что скромная анонимность покавшихся, — хотя, с другой стороны, зато уж, напрягая ресурсы собственной благожелательности, с одинаковой надеждой всматриваешься в имена здравствующих «подписантов», по недавней терминологии. Кто из них? Михаил Алексеев? Сергей Викулов? Анатолий Иванов? Петр Проскурин? Сергей Смирнов? Николай Шундик?.. Хорошо-то, конечно, хочется думать о каждом, но чтоб не мучить нас сомнениями, отчего б этим трем неизвестным и впрямь не заявить о себе гласно? Во-первых, им же на пользу: разве это не облегчило бы душевно и творчески — ну, скажем, Петру Проскурину его трудную деятельность по выбору лучшего памятника Василию Теркину, тем более, допуская, его тонкий вкус столь необходим компании художественных арбитров? А во-вторых, тем самым можно будет обезопаситься от тени, которую бросает на них наивный ланщиковский маневр, каковой (именно по причине своей крайней наивности) с коварной наглядностью обнажает агрессивную пружину дружеского самозванства. Намекает: мало того, чтоб задешево самоутвердиться за счет своего якобы приятельства и будто бы единомыслия с покойным поэтом; главное, его надобно отобрать у тех, кто был ему истинно близок.

Отобрать — может быть, из своей нестерпимой любви к нему? Из слепой, может быть, ревности, из жадного желания владеть сокровищем единолично? (Чувство, как сказали бы прежде, непросвещенное, но по крайней мере понятное.)

Да нет. Тот же ланщиковский пример опять убедительно опровергает эту сентиментальность: ему, Ланщикову, понадобилось территориально присоединить к себе Твардовского затем, чтоб уязвить Лакшина. Более — незачем.

В общем, очень понятно, отчего так раздражают Татьяну Глушкову напоминания о духовной — существующей, невидуманной, никем не навязанной! — иерархии: «великий русский поэт Мандельштам... великий поэт Цветаева...» Понятно и то, что сам образ российского интеллигента,

¹ «Против чего выступает «Новый мир»?», «Огонек», 1969, № 30.

искоренявшийся на беду национальной культуре и всему народу (где Николай Вавилов? где Павел Флоренский? где Александр Чаянов?..), вызывает у нее желание рвать и метать. Ей недостаточно осмеять — куда язвительнее, чем человекопса Шарикова — интеллигента сочиненного, булгаковского профессора Преображенского, этакого, согласно Глушковой, «барственного «зубра» нещадной науки» (тут, понимать надо, заодно отведена плюха другому «зубру», генетику Тимофееву-Ресовскому, герою повести Гранина), — нет, не пощажен и интеллигент, который, на наше счастье, реален, тот, кто для многих и есть воплощение реликтовой интеллигентности, Дмитрий Сергеевич Лихачев:

«Экология интеллигенции — вот во что вырождается недавняя **экология культуры** в странной статье Д. С. Лихачева». «Воспитать в себе гражданина мира»... Отчуждение культуры от ведения, участия народа — ее знаменательный пафос».

Поняли? Если же — от растерянности, потому что как тут не растеряться? — нет, то перечтите: «вырождается... Отчуждение культуры от... народа». Это о Лихачеве. И — помимо всего наипрочего — какую же сатанинскую уверенность надо обладать в своем праве сказать **ему это...**

А и в самом деле: какой? На чем основанной? И тут с надеждою на ответ обращаешься к обстоятельству, которое мне, признаюсь, вообще-то казалось отчасти пикантным и даже забавным. То есть яростный полемист, рушащий инвективы главным образом на поэтов, Глушкова сама пишет и печатает стихи.

Почему забавным, а не иначе, сейчас поясню... Вернее, уже пояснил — в 1-м номере «Знамени» за 1988 год, где вслед за Сергеем Чуприным, который когда-то с точностью эксперта окрестил поэтессу Глушкову «старательной копиисткой — ученицей Ахмадулиной и Мориц», я обратил внимание на любопытную психологическую аномалию. Чем усерднее Глушкова копирует ту же Ахмадулину, тем грубее поносит ее в статьях, и, напротив, с возрастом поношения возрастает жажда неотличимо копировать — вплоть до такой назойливой ноты: «Ужели чаша выпита до дна? Ужели даже смерть его не встречу... Ужели я от памяти волна? Ужели я от юности свободна...» — и так далее.

Лжеахмадулинская жеманность, разумеется, вскрикнет и в недавнем глушковском стихотворении («Новый мир», 1988, № 2): «Ужели рифма опалила губы...», — но бог с ним, этим, может быть, раскольниковским комплексом, заставляющим звонить в ненавистную дверь; поговорим о другом.

У русской поэзии, а вернее сказать, у самого по себе русского стиха, есть, я заметил, одно чудесное свойство, которое с первого взгляда, пожалуй, сочтешь мистическим. Поэт ты или всего лишь дюжинный стихослагатель, все равно — в русском стихе тебе не удастся солгать, прикинуться тем, кем не являешься. Как ни старайся, проговоришься, выдашь себя, — а мистики тут, как догадываетесь, нету, есть лишь причины, средь которых самая общая, но и главнейшая — это особенная, высочай-

шая, чуткая к фальши нравственность, выпестованная нашей великой поэзией.

Впрочем, и проговориться не всякому удастся так, как удалось Татьяне Глушковой!

«...К туманным звездам медное лицо закину — в жестоком северном загаре... то ль над судьбой полевых трепещу, а то ль крылатой радуюсь охоте...» — ах, как ей нравится словно нечаянно любоваться собою со стороны, как ей хочется быть такой вот нежно-нездешней, как ей, может быть, и самой упоенно верится, будто она не свирепый критик, а утонченнейшее существо, более всего на свете трепещущее над судьбой крохотной мышки-полевки! И до чего же приятно — и многозначительно! — в этом тихом экстазе воображать свою прабабку-дворянку, разумеется, из Смольного института, разумеется, тайно склонную к рифмам, разумеется, наделенную даже кем-то вроде Арины Родионовны: «...ей сказки вечерами говорит седая нянька, барчука качая».

Слащаво? Кокетливо? Да и весьма небогато в смысле воображения, которое не рискует или не умеет выбраться из круга самых книжно-расхожих примет «раньшего времени»? Увы, так, но, по чести, есть момент, когда даже безвкусие и неумелость хочется вдруг простить, потому что автор, кажется, неожиданно пробудился от самовлюбленных снов, глянул и увидел:

Гниет камыш на угловой избе.
Во всем селе ни шифера, ни дранки.
Во всем селе — ни телки, ни козы.
Лишь чавкает болотная водица.

Каковы бы ни были эти строки, они — о беде и боли. И коли так, то, стало быть, автор, которому среди душевных забав представилось это, уже не только не отведет горького взора, но, может быть, устыдится затянувшегося вояжа в заповедный мир своей лучшей в мире души? И устыдившись, скажет такое... такое...

Успокоимся. Автор глянет, увидит, отвернется и спросит: ну и что? Или хотя бы: что с того?.. Вы думаете, я зло шучу? Но, как говаривали Ильф и Петров, придумать можно было бы и посмешнее.

И что с того, что нету и следа
той жизни?..
И что с того, что пущен с молотка
тот дом, где я брожу теперь украдкой?..
Что выцвел, словно поседелый мак,
печальный флаг над крышей сельсовета...

Действительно, что с того? Какая разница, ежели от картин заброса, уродства и нищеты можно комфортнейшим образом воротиться в мир своей размечтавшей, непотревоженной души?

Вот такой, значит, урок народолюбия дала Татьяна Глушкова Дмитрию Лихачеву. И чтоб заиметь это безумное право, а заимевши, не упустить, разве не нужно всеми средствами противостать торжеству истинных критериев в настрадавшемся нашем искусстве?

Нет, уж тут не до ликования, когда к нам возвращаются великаны, которых, словно в Гулаг, ссылали в забвение, — конечно, порой из приличия приходится выжать уксусную улыбку: да, мол, «своего рода праздник», но, официально отулыбавшись, тут же берешься за любимое занятие: за «унижение высокого». Досадно, в самом деле! Лишь недавно одни мучительно осознали, другие облегченно вздохнули, что «нету их. И все разрешено», что ушло ощущение ежедневной подотчетности присутствующим рядом «им», как «они» или равновеликие им вновь появляются на свежих журнальных страницах — то с «Реквиемом», то с «По праву памяти», то с «Заблудившимся трамваем», то с «Доктором Живаго», и многие современники, а чуть не более всех тот же Дмитрий Сергеевич Лихачев, не скрывают, даже подчеркивают: это и есть подлинное искусство. То, без которого нас держали, словно без кислорода, одних попросту умертвив духовно, других изуродовав и приучив жить, как в противогазе.

Опять, значит, это непосильное, слишком высокое, раздражающее соседство, унизительно указывающее тебе твой невеликий шесток?..

Все, повторяю, понятно. Все логично. И то, что Глушковой необходимо унизить достоинство Пастернака или высмеять тех, кому «трудно жить» без Цветаевой. И то, что другой стихотворец, Юрий Кузнецов, почти неминуемо должен был написать следующее: «...Мне не нравится в Ахматовой ее гигантомания. Вот сейчас много говорят о ее поэме «Реквием». Однако... есть в «Реквиеме» эпизоды, которые надо бы писать только в третьем лице, о матери, но никак не о себе. А так получилось самовлюбленно... Ахматова по женской слабости слишком поверила своим обожателям. И посчитала себя великой поэтессой». Верит ли в это он сам? Может быть, но, полагаю, это не важно. Самое главное здесь — даже не дикая невоспитанность нравственного чувства, а неумолимая логика **выживания**.

Им надо, чтоб все было разрешено: чтобы Глушкова всерьез почиталась поэтом, Ланщиков веско судил от имени Твардовского, слава осеняла «великого» Кузнецова, обходя «неполноценную» Ахматову, — вот именно обходя! Дабы сбылась эта вымечтанная идиллия, надо, чтоб «гениев» не было. Или про крайней мере чтоб их допускали к читателю, упаси бог, не самих по себе, а выборочно и под строгим конвоем. По порядку, который сурово назначила в той же «Литературной газете» (№ 4) член ее редколлегии Светлана Селиванова: «Формула «пусть все печатается, а разбираться будем потом», на мой взгляд, довольно опасна. А что если потом разобраться так и не сможем — будет поздно?»

В каком смысле — поздно? В том ли, что читатель успеет прочесть и составить свое мнение? И для кого поздно? Для него, для заждавшегося читателя? Для Ахматовой? Пастернака? Мандельштама? Набокова? Или для тех, кому они так насущно, так досадно мешают?..

Вот, вот чем еще скверна уравниловка, норовящая «все поделить». Тем, что фиктивна. Тем, что вызывающие к ней для себя ее не хотят, дудки! Ведь и возжелавший дележки Шариков ею не удовольствуется и при случае заграбастает все. Кто пугается обратиться за подтверждением этой нехитрой истины к нашему совсем недавнему прошлому, перечтите... да хотя бы гофмановского «Крошку Цахеса» (ибо вот в кого неминуемо преобразается уравнитель Шариков). Полезное чтение, вернее сказать, перечитывание.

Перечитывать старое вообще полезно. Хотя бы для самопознания: очень наглядно видишь, как изменился ты сам, как переменяло тебя время. И потому, начав эту книжку со скоропалительной, неотложной полемики, я, теперь обращаясь к писателю XIX века, не ухожу от современности. Даже от злободневности не ухожу. Если б и захотел уйти — не выйдет. Этот писатель, Александр Васильевич Сухово-Кобылин, как раз и не позволит уйти.

РАСПЛЮЕВ ВЕЗДЕ

— Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.

— Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?

Евгений Шварц. «Дракон»

Механизм сотворения мифа или легенды, как правило, прост, — стоит только (если, конечно, удастся) заглянуть внутрь него.

Вот пример этой редкой удачи.

Иван Антонович Расплюев, вероятно, самый именитый из персонажей сухово-кобылинской трилогии («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»), является — впервые и в первой из пьес — расстроенным и растерзанным, едва выдравшимся из своей шулерской передраги:

«Ну что делать! каюсь... подменил колоду... попался... Ну, га, га, го, го, и пошло!.. Ну, он и ударь, и раз ударь, и два ударь. Ну, удовольствуй себя, да и отстань!.. А это, что это такое? Ведь до бесчувствия!.. Ты Семипядова знаешь?.. Богопротивнейшая вот этакая рожа... Ведь и не играл... Как потянется из-за стола, рукава заправил. «Дайте-ка, — говорит, — я его боксом». Кулачище вот какой!.. как резнет! Фу ты, госпо-

ди!.. Я,— говорит,— из него и дров и лучины нащеплю»... Ну и нащепал...»

И уж до последнего действия комедии не выйдет из его головы то, что в нее вколотили в самом буквально-материальном смысле.

Когда Расплюев спросит у всезнающего Кречинского, что ж это за штука такая — бокс, и услышит в ответ скупое: «английское изобретение», тут-то в его потрясенном (опять же без всяких метафор) мозгу и начнется поистине творческая, мифотворческая работа:

«Скажите... а?.. Англичане-то, образованный-то народ, просвещенные мореплаватели...»

И, начавшись, отнюдь не остановится.

Здесь, однако, на перо просится аналогия — сознаю, насколько рискованная.

Славный предшественник Сухово-Кобылина Денис Иванович Фонвизин, отправившись в оны годы путешествовать и едва-едва пересекши французскую границу, в письме, отправленном на родную сторону, стоне чужой сразу и с маху вынес такой приговор:

«Словом сказать, господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем».

«Словом сказать» — это венец, конец, утомленный впечатлениями итог, и трудно представить, что категорический автор всего несколько дней во Франции и до Парижа ему ехать и ехать. Но со спокойной уверенностью пророка-профессионала он уже все знает наперед:

«Мы не видели Парижа, это правда; посмотрим и его; но ежели и в нем так же не ошибемся, как в провинциях французских, то в другой раз во Францию не поеду. Коли что здесь прекрасно, то разве климат...»

«Остается нам видеть Париж, чтоб формировать совершенное заключение наше о Франции; но кажется, что найдем то же...»

Известно: ищущий обрящет, а если знает, что именно хочет найти, это самое и найдет: «Рассудка француз не имеет... Итальянцы все злы безмерно и трусы подлейшие... Здесь во всем генерально хуже нашего...»

Все... Во всем... «Словом сказать», Петр Андреевич Вяземский даже не слишком и преувеличил, сравнив фонвизинские письма из Франции с анекдотом о путешественнике, каковой, увидев в пограничном городе, как рыжая баба лупила ребенка, записал: в этой стране женщины рыжи и злы.

Но с чего это великий Денис Иванович не по чину возник в разговоре о ничтожном Иване Антоновиче? И нет ли в том первом из них урону и поношения?

Напротив. Великий и пребудет великим, его даже такая уничижительная предвзятость к чужому, исторически, к слову сказать, вполне объяснимая, не способна обратить в ничтожество (да и письма фонвизинские прекрасны, в том числе самой своей патриотической ревнот-

стью), зато расплюевские размышления в столь серьезном соседстве уже не покажутся неразборчивой попыткой комедиографа рассмешить нас как придется и чем попало...

Вот он, Иван Антонович, выдающий себя — поневоле, по приказанию своего хозяина и кумира Кречинского — за помещика-степняка, уморительно поддерживает беседу с помещиком подлинным, Муромским, которого Кречинский прочит себе в тесте. И стоит тому помянуть выгоды усовершенствованного земледелия: «Вот пишут, какие урожаи у англичан, так — что ваши степные», как Расплюев «горячо» (по ремарке автора) вскакивает на своего позабытого было конька:

«...Англичане! хе, хе, хе! Помилуйте! да от кого вы это слышали? Какая там агрономия? все с голоду мрут — вот вам и агрономия. Ненавижу я, сударь, эту нацию...

М у р о м с к и й. Неужели?

Р а с п л ю е в. При одной мысли прихожу в содрогание! Судите: у них всякий человек приучен боксу...

(Всякий... Оторвемся, чтобы вспомнить то, чего, впрочем, и не забывали: «Итальянцы все злы безмерно... Здесь во всем генерально хуже нашего...»)

«...А вы знаете, милостивый государь, что такое бокс?

М у р о м с к и й. Нет, не знаю.

Р а с п л ю е в. А вот я так знаю... Да! у них нет никакой нравственности! любовь к ближнему... гм, гм, нет, уж как с малолетства вот этому научат (делает жест рукой), так тут этакого ближнего любить не будешь... Нет, уж тут любви нет. Впрочем, и извинить их надо; ведь они потому такими и стали, что у них теснота, духота, земли нет, по аршину на брата не приходится: так поневоле стали друг друга в зубы поталкивать».

Точка. Готов новоиспеченный миф. Свежая, с пылу, с жару, легенда. И зерен, из которых она пышно произросла, раз, два и обчелся. Даже Расплюеву ведомо, что Англия — остров. Что остров сей мал. А тут еще такое впечатляющее новооткрытие, как скуловоротный бокс. Добавьте к этому национальную гордость в той наипримитивнейшей форме, что доступна последнему шулеру, — земля, дескать, у нас велика и обильна, не чета Европам, — и вот в естественном итоге расплюевская картинка.

«Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное», — но пушкинский Дон Гуан, о коем сказаны эти слова, дорисовывал с искусством зоркого живописца, угадывающего истинный облик красавицы; иначе, увидев ее в лицо, можно горько разочароваться. Расплюев малое, как умеет, разочарование ему не грозит, и его «остальное» — уморительный, но и злой лубок. Злобный. Зловещий.

Помещенный в комедию этот «аглицкий» миф имеет полное право восприниматься со смехом и только со смехом, так как не преследует в ней никакой корысти, являясь тем, чем и является: импровизацией по-

страдавшего шулера, не больше и не хуже того. Но художник (в данном случае Сухово-Кобылин) творит и затем, чтобы, как сказано Блоком, «по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар», — да и не только по трагическим заревам, а хотя бы и по комедийной искрящейся пиротехнике, по улыбке, по хохоту, по насмешливому подмигиванию. И разве механизм возникновения расплюевской легенды о маленькой островной Англии, которой, по тесноте ее, только и остается держаться боксом, это не механизм рождения любой шовинистической выдумки? Той, которой мало, что мы хороши, ей подавай, чтоб они были ничтожны и плохи? Разве кичливое презрение к «изобретениям» («...фабрики, машины, пароходы... это голод, это, батюшка, голод; голодом все сделаешь»), то бишь к творческой неумности и предприимчивости иноземцев — ко всему тому, чего нам якобы вовсе даже не нужно, мы, дескать, и так обойдемся, — не есть ли это одна из существеннейших отечественных бед?

Словом, невинная в контексте комедии да и по обстоятельствам явления в свет (каковы невежество, нелюбопытство и битое рыло) расплюевская легенда об Англии — все-таки неутешительный портрет его искаженной души. И не приходится чересчур удивляться, что он, верченный-крученный в «Свадьбе Кречинского», смешной, жалкий и в обоих этих качествах доступный нашему снисходительному сочувствию, во второй сухово-кобылинской пьесе, в драме «Дело», предстанет — правда, за сценой, на нее не допущенный. — клеветником уже вполне реально злокозненным: делает, спасая трепаную свою шкуру, лживый и губительный донос. А в пьесе третьей, в фарсе «Смерть Тарелкина», и вовсе преобразится из жертвы полицейской погони в самого ловчего, обретя должность квартального надзирателя. Сам станет гнаться, хватать, запира-ть, пытать, и если вновь окажется сочинителем некоего мифа или, лучше сказать, утопии, то вот какой:

«Я-а-а таперь такого мнения, что все наше отечество — это целая стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратились в людей, и я всякого подозреваю; а потому следует постановить правилом: всякого подвергать аресту».

Опять: «все... всякого... всякого...» (было: «у них всякий человек приу-чен боксу») — та же ухарская «широта души», но на сей раз она выплеснется ликующим и угрожающим воплем, сознанием своей особенной силы:

«Все наше!.. Всю Россию потребуем...»

...Однако есть ли действительная нужда воспринимать всех трех Расплюевых, так или иначе участвующих в трех разных пьесах, персонажем единой и неделимой судьбы? Многое ли переменялось бы, если б Сухово-Кобылин дал ему новое, иное имя? Так ли уж важно, скажем, что в «Бешеных деньгах» Островского эпизодически появляется именно Егор, именно Дмитрич и именно Глумов, круглый тезка-однофамилец героя комедии «На всякого мудреца довольно простоты»?

Но вот свидетельство самого Кобылина, данное им касательно того Расплюева, что явился в «Смерти Тарелкина», в полицейском обличье:

«Вопрос состоял в том, чтобы выставить его в этом новом и торжествующем моменте и именно так, чтобы он был хотя и торжествующая, но старая, русской публике известная свинья, и чтобы этот метаморфоз был логичен, то есть естествен...»

Все ясно. Старая... Известная... Но уверенно утверждая неразрушимую цельность своего Ивана Антоновича, твердо обозначая его низкую нравственную цену («свинья»), **каким** все же видел его сам сочинитель? Каким по нраву? По обличью? По происхождению?

Есть воспоминания о том, будто Александр Васильевич решительно не принял первого исполнителя роли, славнейшего Прова Садовского: «Он играл хама-пропойцу, а не прогоревшего помещика», и если потом примирился с таким понижением Расплюева в смысле социального положения, то лишь потому, что Садовский играл гениально.

Что ж, помещик так помещик, барин, пусть даже и прогоревший, и опустившийся до карточного шулерства... Но вдруг, а вернее сказать, совсем не вдруг, но по прошествии долгого времени Сухово-Кобылин взял да как бы и согласился с Провом Михайловичем. Заявил, что Расплюев, пожалуй что, разночинец.

Да не просто сказал — сделал. Признав, что в «Смерти Тарелкина» он все та же самая, «старая, русской публике известная свинья», вложил в расплюевские уста речи, плохо свидетельствующие о его барском, помещичьем прошлом: «таперь... эвдаким... эвто...»

Противоречие? Да! И, к моей радости, очевиднейшее.

Когда сам автор на протяжении лет, а порой и в узком временном промежутке колеблется, как бы точнее определить своего собственного героя, это значит...

Но подождем с выводами.

Итак, Расплюев — то ли бывший барин, то ли всегдашний плебей. Ни то, ни се. Неясность и с семейными его обстоятельствами.

В «Свадьбе Кречинского» он, решив, что обманут и предан своим властелином, рвался из запертой квартиры на волю и молил камердинера Федора: «Пусти, брат!.. Ведь у меня гнездо есть; я туда ведь пищу таскаю... Детки мои! голы вы, холодны... Увижу ли вас?.. Ваня, дружок!» Правда, сам Александр Васильевич Сухово-Кобылин, видя, как душещипательно играют эту сцену иные исполнители роли Расплюева (знаменитый Давыдов, тот весь Александринский театр заставлял лезть за платками), не выдержал:

«Да неужели не ясно, что он и тут врет, как сивый мерин?»

Но сказать-то сказал, однако — опять непоследовательность! — в «Смерти Тарелкина» взял и вывел на сцену расплюевского детеныша, именно Ваничку, приспособив его в писаря при отце.

Выходит, поверил-таки — уже не актеру Садовскому, а самому своему шулеру?

Нет. Лучше сказать: поверил себе самому, своему художническому и историческому чутью, у гениев безошибочному, даже если сам гений (а Сухово-Кобылин именно таков) не всегда умеет это чувство оценить и определить. В том-то и дело, что Расплюев ни то ни се. Вернее, и то и се. Он склонен к подвижности, переливчатости, протечности, склонен, как многие **типы** (не характеры — **типы**), которые, став, подобно ему, нарицательными именами, даже понятиями, этим не только не исчерпываются, но, наоборот, подчас искажаются.

Что такое донкихотство, гамлетизм, обломовщина, более или менее ясно всем и каждому, тут не до споров, — а Дон Кихот, Гамлет, Илья Ильич Обломов? Смешон или героичен первый? Расслабленно нерешителен или собранно сложен второй? Плох или хорош третий? Разумеется, все вместе: героичен и смешон, расслаблен и собран, хорош и плох, но ведь как спорили, так и спорят о них, не сходясь во мнениях, преувеличивая и отъединяя одну или другую черту, а все потому, что их, этих героев, их, эти **типы**, и не сложить воедино, как ни стараясь.

Недаром, ежели говорить о нашем Илье Ильиче, уже один из первых критиков романа, Дружинин, тонко заметил, что облик Обломова в первой части никак не совпадает с обликом в части четвертой, и тот, кто смешно и нудно мучит Захара, доводя его до отчаянных слез, не вполне похож на того, кто пропадает от любви к Ольге Ильинской. Совсем не похож.

Нечто подобное — с Дон Кихотом. С Гамлетом. И хоть и пестровая выходит компания: рыцарь, принц и карточный шулер, — с Расплюевым, единственным типом, который создал Сухово-Кобылин и который не совсем то, что «расплюевщина». Презрительное слово-приговор.

Однако Расплюев представляет собою тип не только литературы, но истории.

Сухово-Кобылин родился в год, когда Пушкину исполнилось всего восемнадцать, то есть тот еще не стал, не был **Пушкиным**, может быть, успев всего лишь наметить контур себя будущего, только намекнуть на огромность и обширность понятия, которое мы потом обозначим его именем. А умер, когда Чехов не только стал **Чеховым**, но и жить ему оставалось год. И в почетные академики Императорской Академии наук Александра Васильевича избрали — и то насилу — одновременно с молодым, но уже шумно знаменитым Горьким.

Жизнь кажущаяся неправдоподобно длинной, конечно, за счет не только собственной продолжительности и драматической насыщенности, но и того, что дала за эти годы отечественная словесность. И тех, кто жил рядом с Сухово-Кобылиным, кто был — ну, скажем, всего лишь строго на десять лет моложе или старше его; а это ни много ни мало Гоголь, Белинский, Герцен, Гончаров, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Островский, Щедрин... Если б я не поставил себе пре-

грады, оговорившись: «строго», к ним добавился бы еще и Лев Толстой, идущий следом с опозданием на год.

Тем удивительнее, что в этом шумящем лесу, чья разнородность, смешанность и образует его неповторимую целостность, он казался отдельным, одиноким деревом, к лесу словно бы и не принадлежащим. Да и не стремился принадлежать, не зря презрительно высказавшись в предисловии к драме «Дело»: «...Я не говорю о классе литераторов, который так же мне чужд, как и остальные четырнадцать...»

Правда, порою менял гнев на милость, сухое безразличие на живой интерес и тогда не скрывал, что очень чтит, скажем, Щедрина. Собрата-сатирика. Любит Толстого, хотя мог крепко ругнуться («во истину глупая и противу нравственная Пьесса Толстова «Власть Тьмы» — сохрани разок его причудливую орфографию; он и здесь умудрялся быть насобицу»). Похваливал и Глеба Успенского, зато постоянно и, надо думать, ревниво бранил Островского. О Достоевском не удалось — во всяком случае мне — найти ни словечка.

Да и не в словечках дело. Главное, что само по себе пресловутое братское снисхождение к «бедным» и «маленьким» людям, к их отдельным, особым несчастьям, именно малостью и объясняемым — словом, то, без чего мы традиционно не мыслим облика Достоевского, — вот оно-то Сухово-Кобылиным словно бы обойдено с полным равнодушием.

Не от жестокосердия, нет, хотя порою, кажется, и это можно заподозрить с первого взгляда, например, в «Смерти Тарелкина», в замечательной сцене, где новоиспеченный следователь Расплюев ярится от непробиваемой тупости дворника Пахомова, от которого ему необходимо (как говорится, узнаваемая ситуация) во что бы то ни стало добиться «нужных» показаний. Орут на беднягу Пахомова, лупят его, а нам... нам, стыдно признаться, не жалко; впрочем, погодим обвинять в бессердечности и себя.

Коротко говоря, причиной тому тотально насмешливая, нескрываяемо балаганная, чуть не цирковая эстетика «комедии-шутки», как окрестил «Смерть Тарелкина» сам Сухово-Кобылин (а на деле комедии-фарса, комедии-буффонады, безоглядного и беспощадного гротеска). Но не только это.

Вот, если так можно выразиться, беседа частного пристава, получившего в пьесе водевильную фамилию Ох, и вышеупомянутого Пахомова:

Ох. ...Дворника под арест.

Пахомов (на коленях). Ваше высокородие, — не погубите!..

Ох. Ни, ни. Нельзя, любезный.

Пахомов. Помилуйте, сударь, кто же будет улицу мечь?

Ох. А у тебя есть жена?

Пахомов. Как жены не быть: жена есть.

Ох. Ну жена и выметет.

Пахомов. Где ж ей мечь, — она не выметет.

Ох. А городской придет,— да палку возьмет, вот она и выметет. Пахомов. Ну разве городской палку возьмет».

А вот что немногим позже выходило из-под пера гнусно известного князя Мещерского:

«Есть нечто на Руси в виде бесспорной истины, сознаваемой народом. Это сознание нужды розог... Куда ни пойдешь, везде в народе один вопль; секите, секите, а в ответ на это власть имущие в России говорят: все, кроме розог. И в результате этого противоречия: страшная распущенность, разрушение авторитета отца в семье, пьянство, преступления и т. д.»

И это не дикий голос беглого сумасшедшего, которого по всему городу разыскивают служители желтого дома, а глас одного из идейных столпов эпохи Александра III, такого, чье мракобесие доходило до оппозиционности к «власть имущим в России».

Гимна розгам народ не пел. О необходимости их не вопил,— вот под ними, под розгами, поротые покрикивали-таки, случалось; и нередко. Но то спокойное удовлетворение, с каким Пахомов, сам только что битый, принимает известие, что за нерадивость или за неумение жене крепко достанется от городского, его врожденная убежденность, что палкой очень возможно исправлять нравы и даже учить ремеслу, его покорность, его готовность сносить этакий порядок — все это, увы, не злая выдумка сочинителя. И подобное состояние, которое прививало и не могло не привить рабство, Сухово-Кобылину было явственно видно и до презрительности ненавистно.

Превосходно высказался автор немногостраничной работы о нем, Анатолий Горелов:

«Наперекор гоголевской традиции, Сухово-Кобылин не жалеет «маленького человека», ибо полагает, что в змеином обществе маленький человек отлично оскотинится и станет преопаснейшей общественной чумой.

...Для Сухово-Кобылина нет проблемы «маленького человека» в его социальной подавленности, в его «униженности и оскорбленности».

...Судьбу «маленького человека» драматург рассматривает без иллюзий: Гоголя он любил, но из его «Шинели» выпрастывался твердо и с саркастической улыбкой. «Маленький человек» для него если еще не каналья, то всегда к этому готов».

Сказано именно о таких, как Пахомов. Но коли так, то при чем здесь заглавный герой моей статьи Расплюев?..

Нет, что бы там ни говорил Александр Васильевич (правда, как мы видели, порою отступаясь от собственных утверждений), а он мало похож на разорившегося барина.

«— А как у вас земля? — А что земля! земля ничего. — У вас там должен быть чернозем? точно: ведь Симбирская черноземная губерния. — Да, да, да, как же! чернозем, — удивительный чернозем, то есть черный, черный... у! вот какой!» Так явит Расплюев свою помещицью не-

осведомленность в разговоре с неотвязно любопытствующим Муромским, но это, впрочем, еще пустяки. В конце концов он мог проживать деревенские денюжки и в городе, в село не наведываясь. Как тот же Обломов. Но у него нет памяти о привольном и сытном житье, — не словесных воспоминаний, а памяти тела, памяти брюха.

Вот он весь — в похвальбах перед недоступным Кречинским:

«— А я, Михайло Васильич, из Троицкого завернул к французу, завился — а ла мужик... Вот извольте видеть, перчатки — полтора целковых дал... белые, белые, что есть белые...

— Совсем не нужно.

— Как же, помилуйте! как же-с! без белых перчаток нельзя; а теперь вот в ваш фрак нарядился... извольте взглянуть...

— Ха, ха, ха!.. хорош, очень хорош. Смотри, пожалуй! а? целая персона стала».

Смех Кречинского донельзя красноречив: все это сидит на Иване Антоновиче, как седло на корове, глядится на нем до забавности неприлично, да и сам он нечаянно сознается в этом.

«...Удивительный чернозем, то есть черный, черный... у! вот какой!» — это скажется о земле, о пашне, которой он вовек не видывал. «...Белые, белые, что есть белые...» — а это о перчатках, которые видит на собственных руках, но не очень-то доверяет глазам, как и в ту минуту, когда, получив малую толику от Кречинского, завернет «в Троицкой», в трактир то есть, и неуверенно ощутит себя в непривычной роли завсегдатай-гурмана:

— Вхожу, этак, знаете, сел посреди дивана, подперся так... Гм! говорю: давай ухи; растегаев, говорю, два; поросенка в его неприкосновенности! Себе-то не верю: я, мол, или не я?..

«Совсем не нужно», — безапелляционно говорит Кречинский, увидав самоновейшего белоперчаточника, и он, увы, прав. «Не нужно» не только на этот раз, но вообще, как заморское кушанье, которого не переварить отечественному желудку, как оболочка, которую, как ни натягивай, не сделаешь своей, в контрастном сравнении с теми, кто родился и воспитан таким, для кого фрак естествен, как собственная кожа.

Сам Александр Васильевич Сухово-Кобылин, живя в своем имении Кобылинка, выходил к столу во фраке и белом галстуке даже тогда, когда не было ни единого гостя, ни домашних, когда он был один-одинешенек, не считая, понятно, прислуги. Он так привык. Ему затруднительнее, чем всякий раз одеваться к обеду, было бы отвыкать от своих вкоренившихся привычек.

Именно — вкоренившихся; этакое приходит куда надежнее и уходит куда неохотнее, когда за ним уклад, сложившийся не при тебе одном: вон когда еще Фонвизин, посетивши Францию, неприязненно поражался, что некая тамошняя маркиза, если нету у нее гостей, не смущается спуститься, дабы пообедать, в собственную поварню!..

Расплюевское франтовство — франтовство нищего. Гурманство — гурманство голодного, точнее, познавшего-таки, что голод не тетка, не просто насыщающегося в трактире, а берущего честолюбивый реванш. Ему ведь важны и отрадны не одни поросенок да уха с расстегаями, но и то, что можно сесть посреди дивана, подпереться так... Словом: я или не я?

«В клубе пообедал отлично», — вот и все, что сообщит Кречинский. Расплюеву пообедать мало, надо и описать пообстоятельнее, заново пережить несчастую сладость, и это по-человечески очень понятно — всем и во все времена.

Аристократ граф Лев Николаевич Толстой не опишет обеда у Тестова так, как казак Гиляровский, понавидавшийся лиха, не испытает такой потребности, но и просто не сможет, ибо не прочувствует столь глупо. Хемингуэй, Ремарк — их чрезмерные описания яств и напитков — это восприятие не только «потерянного», но и самым простым образом наголодавшегося поколения.

Расплюев не человек верхов, катящийся вниз. Он человек низа, карабкающийся вверх. А лучше сказать: человек общественной обочины, проталкивающийся в середку.

Один литературовед как-то предположил, что роль Расплюева — той его поры, пока он, не обретя полицейской самостоятельности, пребывал при Кречинском, — похожа на роль слуги в европейской комедии. Нет. Ничего подобного. Слуга — тень барина, пусть даже ворчащая и передразнивающая его, такая, каков хлестаковский Осип или обломовский Захар. Он не отдает своей воли, у него ее изначально нет; он принужден служить и быть тенью. Расплюев другое и совсем не потому, что в комедии вакансии слуги занята камердинером Кречинского Федором.

Восхищаясь Михайлой Васильевичем, служа ему, он все-таки продолжает существовать сам по себе. И в сюжете комедии, где он не аккомпанирует Кречинскому, а ведет свою — ответственнейшую — партию, и в той модели действительности, которой комедия является.

Он предается Кречинскому по собственной воле, если даже и принужден к этому бедностью и надеждой разбогатеть, да и ремеслом, в котором состоит у того в подмастерьях. Он счастлив служить, счастлив стать (стать — напомню, без волевых усилий извне) рабом, и, если угодно, активное ощущение этого счастья есть расплюевское самовыявление, своеобразная его самостоятельность.

Тут вспоминаются слова Ленина о том, что раб, смиряющийся со своим положением и не восстающий против него, всего только раб и есть, в то время как раб, упивающийся своим рабством, тот хам и холуй.

Расплюев — **добровольный холуй**, который (когда наступит черед, то есть в «Смерти Тарелкина») станет торжествующим **хамом**. И будет

тем агрессивнее торжествовать и являть свое хамство, чем счастливее был в холуях.

Он не бывший барин — ни по натуре, ни по манерам, ни по психологии. Не чета он — хотя бы в качестве участника сюжета — и слугам. Его жизненная родословная (кто? откуда? каких родителей сын?..) даже не важна, важно совсем другое: то, что в социальном, историческом смысле он «человек со стороны». Повторю: с обочины.

Он из новых, еще не вполне опознанных, — оттого-то сам Сухово-Кобылин так колеблется; что в оценке игры Прова Садовского, что в определении расплюевской родословной.

В комедии «Свадьба Кречинского» Расплюев затесался в привычную схему: барин — слуга. Вклинился в промежуток между ними, графически обозначенный тире. В жизни, той, что отразилась в комедии и продолжает шуметь за ее пределами, он в той же — или похожей — роли. Ведь и там, вовне, схема общественного устройства: государь — дворянство — народ, эта традиционная схема кривилась и ломалась на глазах Александра Васильевича Сухово-Кобылина, в тот долгий для одного человека и быстролетный для всей истории срок, который был отпущен ему лично. Возникали промежуточные прослойки, прежде не принимавшиеся во внимание из-за своей, казалось, немногочисленности, несущественности и бесперспективности.

Между государем и дворянством возник мощный слой бюрократии, понемногу вытеснявший и заменявший дворянство в его исторической роли и в словесном могуществе. Между дворянством и народом возникали люди непонятной породы и пестрого происхождения: разоряющиеся дворяне, утверждающиеся мещане, и Расплюев, откуда бы он ни пришел, особь этого типа. Новаявившийся люмпен, без определенного места в жизни и в истории.

Он без места и потому способен на все. «Всегда готов», по цитированным словам нынешнего литературоведа. Наделен «даром утешаться», по выражению другого, давнишнего критика, — утешаться после таких падений и унижений, которых человеку с чувством достоинства не пережить.

В этом его сила. Жизнеспособность. И — задолго угаданная Сухово-Кобылиным опасность.

Опасность «всегда готового» умения перемениться или, вернее, примениться. Черты, имеющей свое будущее.

...В знаменитом и знаменательном рассказе Зощенко «Землетрясение» речь идет о некоем Иване Яковлевиче Снопкове, спяну проспавшем час этого природного катаклизма. И сообщение о том, что он надрался как раз перед этим нерядовым событием, сопровождается невинной фразой: «Тем более, он еще не знал, что будет землетрясение».

Это сказано от лица человека, простодушно верящего, что к любой, самой неожиданной перемене можно, если постараться, приготовиться.

Вольно или невольно (впрочем, конечно, невольно) эта уверенность получила отклик в другом произведении, в романе «Золотой теленок», в том эпизоде, где перепуганный призраком чистки канцелярист жалуется Александру Ивановичу Корейко:

«— Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались, как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику... Кто мог знать?

— Надо было знать,— холодно сказал Корейко.

Но тут другое дело. Другой человек. Корейко в данном случае — демагог, и его демагогия, задним числом осуждающая непредусмотрительных, смешит Ильфа и Петрова. Как и Зощенко смешила демагогия его персонажа, стихотворца-самоучки из крестьян, похваляющегося чистотой крови и, стало быть, анкеты:

«Бывало, все кругом удивляются: «Чего, мол, это вы, Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, говорят, на других». «Нету, говорим, знаем, чего делаем».

В «Землетрясении» хитроумно-демагогических ухищрений в помине нет. Здесь естественно воплотилось самосознание — или самоощущение — «средних людей» (так определял статус своих героев Зощенко), всегда готовых к любому катаклизму и в этом приспособлении обретающих жизнеспособность. Так что великая фраза — «Тем более, он еще не знал, что будет землетрясение» — наивно и мудро определяет превосходство социального опыта персонажа-рассказчика перед опытом беспечного пьяницы Снопкова. «Надо было знать»!

Сам Зощенко за своими персонажами поспеть не мог. И, страдая профессиональным заболеванием сатирика — отвращением к миру, порою готов был завидовать спасительному автоматизму «среднего человека». Даже гораздо более того — автоматизму животного.

В книге «Возвращенная молодость» он рассказывает, как обезьяна в зоологическом саду, только что находившаяся в дикой ярости оттого, что некий перс ударил ее палкой по носу, мгновенно успокаивается, получив от сострадательной дамы кисть винограда.

«Довольство и счастье светилось на ее мордочке. Обезьяна, позабыв обиду и боль, позволила даже коварному персу погладить себя по лапке.

«Ну-те,— подумал автор,— ударьте меня палкой по морде. Навряд ли я так скоро отойду. Пожалуй, виноград я сразу кушать не стану. Да и спать, пожалуй, не лягу. А буду на кровати ворочаться до утра, вспоминая оскорбление действием. А утром небось встану серый, ужасный, больной и постаревший — такой, которого как раз надо поскорей омолаживать при помощи тех же обезьян».

Эту главку своей книги Зощенко назвал: «Не надо иметь воспоминаний». И снабдил ее таким комментарием:

«Здоровый мозг (в данном случае, скажем, мозг обезьяны) имеет ту чрезвычайно резкую особенность, что он реагирует только лишь на то, что есть в данную минуту. Этот мозг как бы не помнит ничего другого, кроме того, что есть. Он имеет короткую реакцию».

Вот определение самой сущности автоматизма. «Дара утешаться», говоря иными словами,— того дара, который как идеал психического здоровья измученный своими «воспоминаниями», то есть эмоциональной, болевой памятью писатель видел в примате. И, к горечи своей, не видел в Гоголе, Фонвизине, Эдгаре По, Ницше, в себе самом...

Имя Зощенко, и не его одного, просто не могло не явиться в этой, второй статье книги (а третья будет посвящена ему целиком). Вот почему.

Сухово-Кобылин, как говорилось, вовсе не был склонен к трогательно-сентиментальному восприятию «маленького человека», каким порою и Расплюева изображали на сцене. Но ежели брать это прилипчивое звание не как словно бы уже заключенный в нем самом призыв жалеть, помогать и спасать, а как безэмоциональное обозначение определенного (хотя — определенного ли?) общественного слоя, разнородного по имущественному положению или происхождению, но сплоченного ощущением собственной шаткости, зыбкости, нравственной и социальной кахельности, то куда же, как не к Башмачкиным, Поприщевым, Девушкиным и Мармеладовым, и приткнуть нашего Расплюева? И кем продолжить его литературную и историческую судьбу, если не персонажами Зощенко, Эрдмана, булгаковским Шариковым? Людьями, которые, как и он, ни то ни се, или — и то и се. Людьями без твердой опоры, без определенного места — тем более рьяно ищущими его, не находящими, однако уж если найдут, если им повезет, как Расплюеву, то...

У новейших, так сказать, послесуково-кобылинских исследователей «маленького» или «среднего» человека он воскрешен, тревожно и трезво, в своей пугающей или по меньшей мере предостерегающей двоякости. Порою клонящейся к тому, чтоб героя — все-таки, несмотря ни на что, вопреки многому и многому — пожалеть, и вот, скажем, эрдмановский «самоубийца» Семен Семенович Подсекальников (кстати, герой пьесы, откровенно и безбоязненно зависящей от «Смерти Тарелкина»), то является в жалчайшем виде, способном вызвать только гадливость, то возвышает свой страдающий шепот до трагического — да, да! — пафоса. Порою же само по себе отсутствие почвы, этот источник несчастий всех былых Мармеладовых, агрессивно представлено как патент на первородство, не меньше того!

«Филипп Филиппович умолк...

— Отлично-с,— поспокойнее заговорил он..— Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не нэпман.

Вот! Это — самосознание самоутверждающегося люмпена, которому вполне достаточно того, что он ни то ни се, поистине «ничто», дабы заявить свое право стать «всеми». Шариков — не нэпман; кто посмеет это оспорить? И лишь потому — по его логике, заставившей озадаченно примолкнуть даже профессора Филиппа Филипповича Преображенского, — он «трудолюбивый элемент». Он — новорожденный вакуум, социально держащийся не наличием качеств, а их отсутствием.

Используя возможности фантастического сюжета, Булгаков буквально материализовал пресловутое «ни то ни се», этот общественный пробел, размахнув амплитуду качательности от милейшего пса до невообразимого пакостника с собачьим... э, нет, не так! То-то и оно, что не так! «Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!» А своеобразнейший хэппи-энд повести в том, что «заведующий подотделом очистки Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ» Полиграф Полиграфович Шариков вновь возвращен в лоно природы, в состоянии «ничего», где он, освобожденный от необходимости отвоевывать место в человеческом мире, опять обращается в пса-милягу, ничуть не раздражающего нас воинственными претензиями.

Хэппи-энд есть хэппи-энд, и в согласии с ним рука экспериментатора — уже не профессора Преображенского, а писателя Булгакова, — навела порядок во вздыбившейся было жизни, не дав возможности (по крайней мере в повести) свершиться ужаснейшему. Вернее, отсрочив это ужаснейшее. Именно то, что сам профессор предвидел с отчетливостью, заставляющей предполагать, что его политическая наивность мнима:

«— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через 10 дней после операции. Ну так вот. Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки».

Да, у Полиграфа Полиграфовича прямой и ближайший путь в Швондеры, в «идеологи», а потом дальше Швондера, ибо и этот крутолобый болван вскоре окажется перед чистопородным преемником кем-то вроде растерянного интеллигента. И именно по той причине, что любую, говоря зощенковским языком, «центральную идею» Шариков «всегда готов» низвести до своего уровня и обратиться на практическую пользу себе, — гарантией этого будет бездумный автоматизм, с каким он эту идею воспримет, становясь в реальной нашей реальности материалом и опорой худшего, что произойдет в стране за долгие годы.

Возникая в роли то оголтелого «коллективизатора», стригущего под ноль, режущего по живому, то глашатая предвоенного шапкозакидательства, то идеального исполнителя бюрократических инструкций, то носителя якобы «национального духа», выраженного в презрении и ненависти к чужому, то... Мало ли у него, такого легкого на подъем, воплощений? Опасных, страшных, чудовищных — таких, реализовать которые Булгаков не захотел.

Как известно, Горький, обрадованно встретив его повесть «Роковые яйца», посетовал тем не менее, что «проход пресмыкающихся на Москву не использован». Однако ведь и в «Собачьем сердце» новый поход нового пресмыкающегося по тем или иным соображениям также был насильственно пресечен. В истории, в реальности, не обладающей счастливой возможностью оградиться рамками художественного сюжета, этого, разумеется, не произошло.

Автор этой статьи испытывает сильнейший соблазн, не откладывая, дотошно проследить весь дальнейший путь **расплюевщины**, которая, если вдуматься, не уже **обломовщины** или **хлестаковщины**, — кстати, однажды и было сказано: «Расплюев везде, как везде Хлестаков». У этой, если угодно, общественной болезни долгая, вовсе еще не кончившаяся история; у нее очень различные симптомы, и заражает она собою весьма разные слои общества. Даже такие, куда ход ей, казалось бы, запрещен изначально, навечно и намертво, ибо уж они-то по самой своей природе были неотрывны от породившей и крепко держащей их родной почвы (почвы в метафорическом, но самом буквальном смысле) или от твердого нравственного стержня, чья твердость определена традиционно преследуемой целью, даже миссией. Да что говорить в общих словах, если они перед нами в живой своей конкретности, в том числе художественно воплощенной: абрамовские мужики, разлюбившие мужицкий труд, переставшие его уважать (а вернее и горше сказать, обездоленные теми, кто это уважение у них отнял); «архаровцы» Распутина; полугорожане-полукрестьяне, ни то ни се, ранящие душу Евгения Носова; трифоновские интеллигенты, то есть давно уже полуинтеллигенты, псевдоинтеллигенты, не интеллигенты...

«Расплюев везде» — это звучит как предостережение или как диагноз, разумеется, если учесть, что речь о целом комплексе качеств, в котором и пытаются разобраться эта статья. Он, комплекс, может являться, что называется, и «слева» и «справа», среди исторически беспамятных и среди тех, кто тяжко дискредитирует святое и, что не менее важно, общечеловеческое, общекультурное понятие **памяти**; индивидуума, клейменного расплюевщиной, можно отличить не по лозунгам, которые он фрондерски выкрикивает или с чинным достоинством несет в общей колонне, — лозунги бывают самыми что ни на есть противоположными, — но по тому, что он «всегда готов» приспособиться и превратиться, этой универсальной готовностью немедленно опошляя то, к чему приспособляется.

Словом, о таком хочется, стоит, надо писать — да и пишется: мне кажется, именно этой проблемой, этой болезнью как раз и заняты многие публицисты, социологи, экономисты, политики, озабоченные судьбой спасительной для общества перестройки. Но, оставаясь верным своему замыслу и остерегаясь опасности безгранично и неощутимо растечься мыслью, я надеюсь, что чем проблема болезненнее, чем больше она наболела, тем любопытнее... Да что там! Тем полезнее всмотреться все в того же неисчерпаемого Ивана Антоновича Расплюева, оказавшегося, на нашу беду, зорким предвидением.

Тем более что как объект рассмотрения он так хорош, нагляден, крупен. Уж для него-то Сухово-Кобылин не пожалел, не урезал простора, дабы размахнуться душой: «Всю Россию потребуем...»

Итак, он без места, без стержня, без почвы — и потому способен на все. На роль осведомителя и лжесвидетеля в деле Муромских. И — на службу в полицию.

«Сухово-Кобылин, — было сказано в год смерти Александра Васильевича, — уловил в Расплюеве ту крайнюю степень беззаботности, которая не то что примиряет, но делает возможным существование расплюевщины. Расплюевщина — это то же, что французское *je m'en fiche* (можно перевести как: наплевать. — *Ст. Р.*), полная беззаботность насчет морали, каких-либо правил, какого-либо самоуважения».

Беззаботность, беспечность — кажется, простительнейший из недостатков, да и точно ли недостаток? Во всяком случае, всегда ли? Впрочем, ежели и всегда, ежели он чреват весьма нежелательными последствиями, то его в самом деле так и тянет извинить по человечеству, как мы извиняем ребенку, лишенному опыта, его естественную нравственную неразвитость, способность быть и хладнокровно жестоким, и трогательно доверчивым.

А Расплюев именно что доверчив, и как раз эта доверчивость — к собственному ли образу неустанно боксирующей Британии или тем более к обещанию Кречинского, разбогатеет, тотчас отвалить Ивану Антоновичу двести тысяч, — обеспечивает ему наш веселый смех, никак не располагающий человека к ненависти, а то даже и сочувствие. Участвует в создании его странного, но несомненного обаяния, присущего комическим простакам.

Обеспечивает и участвует до поры до времени. До «Смерти Тарелкина».

Что такое доверчивость? В любом случае — односторонность, объясняется ли она замечательной добротой сердца, предпочитающего видеть в людях одно хорошее, или предвзятостью ограниченного ума, не согласного пополнять запасы своих наблюдений, дабы не потревожить и не порушить твердо сложившегося мнения... Правда, слово «ограниченный» вовсе не означает «малый», ни в коем случае! Мы ведь помним не только дикий «английский» миф Ивана Антоновича Расплюева, но и недружелюбную настороженность по отношению к неизвестной Франции

со стороны великого и умнейшего Дениса Ивановича Фонвизина, что, бдительно повторю еще раз, не унижает ума и величия сатирика, зато указывает на неанекдотичность, нечастность заблуждений Расплюева, не объясняющихся индивидуальной глупостью или темнотой сатирического персонажа.

Да, Расплюев доверчив — но, как многие, даже и не чета ему, главным образом к первому, поразившему его или понравившемуся факту. И, естественно, к тем, которые рядом с этим фактом согласно ложатся. Доверчив до очевидной чрезмерности, на что и пеняет ему, занявшему в «Смерти Тарелкина» пост квартального надзирателя, наставник, частный пристав Антиох Елпидифорович Ох:

— ...Ты смотри — правило: при допросах ничему не верь.

— А я вот на это слаб; всему верю.

— Не верь, говорю. Я вот как: приди ты и скажи, вон, мол, Шатал пришел; так что ж? — ведь я не поверю; я пойду и посмотрю.

— А я не так. Вы мне вот скажите, что вон его превосходительство обер-полицмейстер на панели милостыню просит — ведь я поверю. Взять, мол, его! — Я так за ворот и сгребу.

— Обера-то! Что ты, что ты!..

— Не могу. Нрав такой».

«Ничему не верь» — это, разумеется, служебный девиз не одного Оха; известный в свои времена публицист, человек круто реакционных взглядов (реакционных — так что здесь не какой-то там либерал позволяет себе критику слева!), К. Ф. Головин писал о графе Дмитрие Андреевиче Толстом, который в 1881 году, с началом эпохи Александра III, был назначен министром внутренних дел и шефом жандармов:

«Он принципиально не доверял почти никому и лишен был того внутреннего подъема, который один способен внушить и поддерживать плодотворную мысль. Броня предвзятого недоверия его охраняла от чужого влияния».

«От чужого» — но ведь не от чуждого, а от влияния круга единомышленников и единоверцев. «Не доверял» — но ведь не посторонним, не дальним, не неизвестным, а окружающим, приближенным, своим. Чем же, скажите, не иллюстрация к этой броне недоверия наш Антиох Елпидифорович? «...Приди ты и скажи, вон, мол, Шатала пришел... не поверю...»

Расплюев же, как мы убедились, чужому — нет, опять-таки не чужому в полном смысле слова, а близкому, родственному, непосредственно-начальническому влиянию подвержен весьма и весьма, до кажущегося идиотизма: куда уж дальше, если по первому слову готов схватить за ворот самого «обера»? И вот замечательный, зоркий, злой парадокс Сухово-Кобылина: Иван Антонович доверчив к идее тотального недоверия.

Ох — рассудителен, Расплюев — пылок, и оттого он еще последовательнее выражает полицейскую логику, согласно которой... Но лучше вспомним и повторим снова и снова: «...Всякого подозреваю... Всякого подвергать аресту... Всю Россию потребуем...» — да, именно всех и всю, без исключения и разбора, потому что допусти разбор, сделай исключение, и пошатнется завидная стройность системы внутренней безопасности.

«Что ты, что ты!..» — урезонивает расхोлившегося Расплюева Ох, и хотя делает это «весело», ибо утопия, сладко грезящаяся неофиту дознания, тешит его профессиональное самолюбие, но он уже уступил, уже спасовал перед подчиненным и, вероятно, преемником, притом небезопасным для него (как Шариков будет опасен для разбудившего его к «общественной деятельности» Швондера). Потому что Расплюев по простоте, как бы наподобие юродивого, оказывается вдохновенным провидцем полицейского идеала, не только обнаруживает родство с высокими столпами порядка, но предвосхищает их. Это когда еще памятный нам князь Мещерский скажет: «Вся Россия горьким 20-летним опытом дознала, что суд присяжных — это безобразие и мерзость... Куда ни пойдешь, везде в народе один вопль: секите, секите...» И сколько еще предстоит прожить Каткову, пока на смертном одре, перед расставанием с бранным телом его бессмертный дух выразит свое кредо и заповедает завещание: «Прошу единомыслия».

Правда, Каткова обгонит еще и Козьма Прутков, чей «Проект о введении единомыслия в России» появится в некрасовском «Современнике» в 1863 году, за шесть лет до окончания «Смерти Тарелкина». И Иван Антонович крепко сойдется с Козьмой Петровичем в смелости, с какой оба станут именно предвидеть и прорицать, поторапливать верховную власть и даже указывать ей, что она обязана делать в своих собственных интересах.

Это смелость людей, стоящих справа.

В фельетоне Власа Дорошевича купец-черносотенец требует от губернатора запрещения богохульной оперы «Демон» и в патриотическом своем запале не щадит — по-расплюевски — самих вышестоящих властей.

— Да ведь на казенной сцене играют! — защищается губернатор. — Дуботол! Идол! Ведь там директора для этого!

— Это нам все единственно. Нам еще неизвестно, какой эти самые директора веры. Тоже бывают и министры даже со всячинкой!

— Ты о министрах полегче!

— Ничего не полегче. Министры от нас стерпеть могут. Потому, ежели какие кадюки или левые листки, — тем нельзя. А нам можно. Наши чувства правильные. Мы от министров чего? Твердости! Ну, и должен слушать.

У увлекающегося — но куда? направо! — Расплюева тоже «правильные» чувства. И он тоже хочет от власти «твердости»:

«Правительству вкатить предложение: так, мол, и так, учинить в отечестве нашем поверку всех лиц: кто они таковы? Откуда? Не оборачивались ли? Нет ли при них жал или ядов. Нет ли таких, которые живут, а собственно уже умерли, или таких, которые умерли, а между тем в противность закону живут».

Это расплюевский «проект о введении...». Он договаривает за власть недоговоренное ею. Он выражает то, что она, находясь в трезвой памяти, не признает за свое мнение то, чего она покуда не хочет, но к чему ее неуклонно влекут Победоносцевы, Катковы, Мещерские, враги «преступных» реформ шестидесятых годов, и чему она, хотя бы в царствование Александра III, будет противиться все меньше и меньше.

Но Расплюев не только справа, то есть сбоку, рядом. Он над.

О «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылин мог бы сказать то же, что сказал о драме «Дело»: «Предлагаемая здесь публике пьеса... есть в полной действительности сущее из самой реальной жизни с кровью вырванное дело». И еще: это «моя месть... Я ненавижу чиновников».

Александра Васильевича, слава богу, не пытали, как Пахомова в «комедии-шутке» или его собственных крепостных в московской Серпуховской части, но этот ужас ходил вокруг него, долгие годы находившегося под следствием по делу об убийстве его любовницы Луизы Симон-Деманш, нависал над ним, грозил каторгой — был то есть и его судьбой тоже. Расплюев и Ох — личное отмщение измучившим его следователям, карикатурно-буффонное изображение их, ничуть тем не менее не преувеличившее сути «инквизиционного процесса», где все уловляемые пугающе равноправны или равно бесправны перед ловчими: крепостные крестьяне и их знатный владелец, дворянин Сухово-Кобылин, «маленький человек» дворник Пахомов и его превосходительство, действительный статский советник генерал Максим Кузьмич Варравин...

Да! И он, который в «Деле» был виртуозом крючкотворства, гением взятки и грозой подчиненных. В «Смерти Тарелкина» он отнюдь не станет ниже чином, тот же Расплюев будет исправно тянуться перед генералом, даром что тот по другому ведомству, но испытает уже и род превосходства над ним. Род власти. Сообразит, что теперь он, мельчайший полицейский чиновник (мельчайший, но — полицейский), глядишь, и Варравина имеет возможность припереть к стенке, взять его под подозрение, а коли удастся, то и с него взять. Конечно, с непривычки эта мысль покажется ему странной в своей привлекательности, но не невозможной. Не утопической.

В самом деле... Я сказал прежде о разнузданной мечте Расплюева: полицейская, дескать, утопия. Но почему же непременно утопия? Может быть, просто крепкая память? То, чего не может и не желает забыть полиция? То, что и обыватель российский помнит — спиной, боками, загривком? А именно — что «настоящего суда не было, а была одна только всевластная всемогущая полиция, — как скажет знаменитый судебный оратор Спасович, имея в виду времена до судебной реформы

1864 года.—...Расправа с подсудимым и начиналась и кончалась в полиции».

Да. Крепкая память — и оптимистическая надежда Расплюевых: так было, так будет. Надежда, как выяснится, не обманувшая: «Царское самодержавие есть самодержавие полиции», — подведет, спустя время, итоги Ленин.

О пленении Варравина Ох и Расплюев всего лишь весело возмечтали, не более. В эту сторону сюжет комедии не свернул. Однако зарубка на память осталась.

«Ничто так не веселит, как вид человека, приведенного к одному знаменателю» (Щедрин, «Письма к тетеньке»).

Когда-то, в драме «Дело», прожженная канцелярщина Тарелкин убедительно разобъяснил свояченице Муромского Атуевой, что, заявившись она с просьбой в переднюю к сановнику, ни за что не посмеет присесть иначе как на кончик стула. «Отчего же, сударь, на кончик? — встопорщится та, — и я во весь стул сяду... Я не экономка какая. Мой отец с Суворовым Альпийские горы переходил», — на что Тарелкин скептически отпаривает: «Положим даже, что он их с Аннибалом переходил, а все-таки во весь стул не сядете, ибо — дело, сударыня, имеете!..»

То есть, оказавшись в роли просителя, человек предстает как бы нагишом — без родовых и личных заслуг, без прав, без твердой надежды, что справедливое дело будет выиграно, так как оно справедливо; без себя самого.

Потом — там же — сам сановник, Князь, наглядно докажет челобитчику Муромскому, что бумага, «дело» важнее и содержательнее человеческих болей и страданий; что идея справедливости по-бюрократически не существует без обезлички, собственно, в ней-то и заключааясь; что равенство перед законом — это равенство ничтожеств, тех, кто обращен в ничто.

В «Смерти Тарелкина» предстает иная, новая ступень этого страшного равенства — еще страшнее, потому что оно состоит не в обидной ничтожности, а в опасной беспомощности. И не в том только дело, что **в**купе с ничтожествами к одному знаменателю могут быть при нужде приведены и те, кто попирает их пятой, — вернее, и это обстоятельство лишь подтверждает особенное могущество силы, представленной здесь Охом и Расплюевым: она вне общепонятной иерархии, вне видимых закономерностей, хотя бы и таких уродливых, как бюрократическая...

Расплюев — мелочь, мелюзга, мошка, — казалось бы, что он рядом с генералом Варравиним? Но в том-то и штука. Показавши низовую полицейскую власть, получающую такие полномочия, внушающую такой страх, смело лелеющую такие мечты, Сухово-Кобылин замахнулся на нечто, чинами (даже чинами, это в иерархическом-то государстве!) не измеряемое.

«...У нас возведена чуть ли не в степень догмата безответственность не только высших, но и низших чинов полиции (подчеркнуто

мною.— *Ст. Р.*), тогда как, с другой стороны, одно слово полиция в мнении народа и на самом деле стало синонимом отъявленного грабежа, взяточничества, насилия и беззакония... Генер. губернатор видит в обер-полицмейстере отражение своей личности, а этот последний стоит уже, как за самого себя, за частного пристава и квартального, которых не совестится наедине осыпать площадною бранью, за городского и будочника, которых бьет собственноручно».

Выглядит совсем как постраничный комментарий к «Смерти Тарелкина», но нет, это свидетельство современника, явившееся на свет десятью годами раньше пьесы, в Лондоне, в неподцензурном сборнике Герцена и Огарева «Голоса из России». И современник — из тех, что знают дело, ибо он не кто иной, как молодой правовед Константин Петрович Победоносцев; да, и ему в дореформенную эпоху довелось побывать в тайных герценовских корреспондентах.

Между прочим, нечаянным комментатором он оказался и по отношению к самому Герцену, к некоторому обстоятельству его судьбы.

«Власть щедрою рукою рассыпана у нас повсюду,— жестко пишет будущий «Бедоносцев для народа»,— от министра до будочника — на каждом шагу встречается лицо, облеченное всею неприкосновенностью власти». И вот с будочником-то, с лицом, куда более прикосновенным, чем даже Расплюев, и вышла у Александра Ивановича оказия. Когда в 1841-м его арестовали во второй раз, он сам растерянно не мог понять причины, а оказалось, все дело в том, что он, как и весь Петербург, слышал о случае грабежа и убийства, в коем был повинен как раз будочник, нижний полицейский чин. Слышал и, опять-таки, как все, передавал этот слух, рассуждал о нем. Чего вполне хватило, чтобы начальник Третьего отделения Дубельт сказал Герцену:

«Вы из этого слуха сделали повод обвинения всей полиции».

Призадумавшись: усмотрел ли Дубельт обвинения всей ученой части или (даже) армии, соверши преступление какой-нибудь школьный учитель или (даже) пехотный офицер?

Вот она — возведенная «чуть ли не в степень догмата безответственность не только высших, но и низших чинов полиции...». Вернейший признак того, что с общественной свободой положение — хуже некуда, как и нарушение этого «догмата» свидетельствует надежным образом, что общество к свободе двинулось.

Будочник, которого его начальство рассматривает как лицо, воплотившее для народа престиж власти, власти вообще, и квартальный, смело мечтающий о поголовном аресте всех россиян,— они представители силы, ощущающей себя не то что над народом, это само собой, но над государством. Квартальный, будочник, подножия полицейского могущества,— даже они!

И они, увы, не ошибаются: такова страшная магия одной лишь причастности к карательному департаменту, цепенящая к нему не причастных.

«Ну разве городской палку возьмет...» — так зачарованно отзывается дворник Пахомов на успокоительные слова Оха, пообещавшего, что коли его супруга не сумеет выместить улицу, то возмездие ее не минует. И, смирившийся в своей покорности, он смешон и отвратителен, — однако взглядом же и на логику, столь властно его покорившую. Полицейскому Оху совершенно неважно, что палка городского навряд ли сумеет обузить Пахомиху дворничьему ремеслу и улица останется неметена, — важно, что кара не запоздает. Только это!

Логика, хорошо знакомая нам по области бюрократической, где «дело» важнее самого человека, — но еще и страшнее по результату. Вот он, результат: высвободившаяся от уз здравого смысла и от государственной пользы, утратившая даже память о нуждах правосудия, зажившая самопроизвольно, сама для себя, безответственная карательная функция.

Еще и еще раз: «Всякого подозреваю... Всякого подвергать аресту... Всю Россию потребуем...» — в устах представителя иной службы это, возможно, выглядело бы не страшным, а всего лишь смешным бредом. У Расплюева, ощутившего подобные притязания вопреки всем видимым обстоятельствам, включая малость его собственного чина, именно кажущаяся наглая нелогичность, именно «вопреки» зловеще напоминает о самой что ни на есть сущей действительности.

Чем мельче такой мечтатель, тем реальнее сила, которую он чувствует — в себе и за собою, и вот для воплощения именно этой силы, ее, казалось бы, абсурдной, но неумолимой логики Сухово-Кобылину понадобился не кто иной, как Иван Антонович Расплюев. «Маленький человек», прежде гонимый за нелады с законом, но с неубывающим «даром утешаться», наделенный «полной беззаботностью насчет морали, каких-либо правил, какого-либо самоуважения», «всегда готовый» ко всему на свете и справедливо видящий в этой готовности свое возможное торжество.

СРЕДНИЕ ЛЮДИ

— Ну что же, — задумчиво отозвался тот (Воланд), — они — люди как люди... Ну легкомысленны... ну что же... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... Квартирный вопрос только испортил их.

М. А. Булгаков

— Что ж, говорит, это такое? Ну — пуцай он гений. Ну — пуцай стишки сочинил: «Птичка прыгает на ветке». Но зачем же средних людей выселять?

М. М. Зощенко

Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных слоях быта... Только подонки литературы могут создавать подобные «произведения»... Пусть убирается из советской литературы.

А. А. Жданов

Оставим XIX век, оставим Сухово-Кобылина и его Расплюева, — впрочем, не очень-то и оставишь, ибо, как оказалось, они совсем не чужды нашему времени. Так или иначе обратимся, вернемся к Зощенко, перечтем и его, возможно (забегаю вперед), удивившись, до какой же степени он пришелся к нынешним дням. К тому, о чем размышляем сегодня — может быть, в первую голову размышляем.

У него есть рассказ, как актер-любитель, сопровождаемый сочувственными выкриками знакомцев («Не робей, дескать! Дуй до горы!»), играет купца, которого грабят разбойники. И вдруг чувствует, что грабят-то не понарошку: тянут настоящий, кровный его кошелек.

«Братцы, говорю. Режиссер, говорю, Иван Палыч!.. Всерьез грабят!»

И чем истощнее он кричит, тем больше помирает со смеху публика.

Не слепок ли это с собственной зощенковской судьбы? Он, писавший (кричавший!) «всерьез», всю жизнь имел ложную репутацию — весельчака или мещанского развлекалителя. Собственно, когда сорок лет назад грозный докладчик обозвал его «пошляком и подонком от литературы», то был всего лишь итог того, что наприписывали ему за долгие годы. Первым делом, конечно, тяжелые на руку враги (вот и новейший его неприятель, прозаик Анатолий Иванов, изумится, что среди «новоявленных гениев», каковыми, по его иронически-просвещенному суждению, являются Пастернак и Мандельштам, высоким словом помянут «даже» Зощенко). Но и доброжелатели, увы, приложили здесь свою легкую руку.

Даже начав реабилитацию невинного писателя, его словно бы только повысили в чине — однако по тому же ведомству. Признали разоблачителем мещанства, сатириком. Звание как бы суровое и почетное, но повернется ли у нас язык этаким, что ни говори, однозначным клеймом припечатать Булгакова? Платонова? Не говоря уж о Гоголе...

Нет, Зощенко не юморист. И не сатирик (не только сатирик). Как и положено большому писателю, он знаток и исследователь человеческой души. Испытатель ее — на разрыв и растяжение, на прочность и податливость. И в своих исследованиях он скрупулезен, дотошен, вьедлив, пристрастно внимателен к наималейшим движениям любых невеликих душ.

...На первый взгляд, его персонажи сплошь выглядят какими-то уныло упорствующими маньяками:

«Которые были в этом вагоне, те почти все в Новороссийск ехали.

И едет, между прочим, в этом вагоне среди других вообще бабешка. Такая молодая женщина с ребенком.

У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет.

Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе. Вот она к нему и едет.

И вот она едет к мужу. Все как полагается: на руках у ней малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск.

Едет она к мужу в Новороссийск. А у ей малютка на руках очень такой звонкий. И орет, и орет, все равно как оглашенный. Он, видать, хворает. Его, как оказалось, в пути желудочная болезнь настигла. Или он покушал сырых продуктов, или чего-нибудь выпил, только его в пути схватило. Вот он и орет...

И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск, и, как назло, в пути с ним случается болезнь.

Смешно? Еще бы. Пока дочитаешь, обхохочешься. Но в этом донящем косноязычии своя система. Своя динамика. Свой сюжет.

Вслушаемся. Всмотримся. Сперва нам сообщили **место действия**: вагон, приближающийся к Новороссийску. Затем — **главное действующее лицо**: «бабешку». Далее появляется **страдательный персонаж**: младенец. Потом мы узнаем о **цели путешествия**: женщина едет к мужу. Об **обстановке**. И наконец, когда, говоря языком школьного литературоведения, экспозиция завершается, возникает **завязка**: ребенок болен.

Ну, прямо классицистическая стройность!

Таково мастерство. Но оно не то что не самоцельно, оно попросту надежно спрятано от глаз. Однако четко объясняет нам способ нечеткого мышления персонажа.

Зощенко вовсе не занят стенографической (сегодня сказали бы: магнитофонной) записью поездного словоговорения. Назойливо, до одурения повторяющаяся фраза о Новороссийске нужна герою-рассказчику затем, зачем нужен шест идущему через незнакомое болото по узенькой гати. И орудует рассказчик этой опорой точно так же, как орудуют шестом, — отталкивается ею. Продвигается вперед толчками.

Зощенковский персонаж не способен сразу, цельно передать свое ощущение. Нетвердая мысль его не топчется на месте, нет, но пробирается вперед с великим трудом и неуверенностью, останавливаясь для поправок, уточнений и отступлений. К примеру:

«Но вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукий».

Сразу ясна и сразу смешна стереотипность мышления рассказчика, автоматически связавшего ношение очков с социально неблизкой ему, а возможно, и подозрительной интеллигентностью. (В другом случае зо-

щенковский герой скажет: «интеллигент с нашей квартиры, страдающий сахарной болезнью», — эвона, и болезнь не как у людей!) Но дальше: «У него, видать, трахома на глазах».

Это уже замедленный вывод из помянутой странности: «не интеллигент, но близорукий». Потому что коли не интеллигент, то, может, и не близорукий? А коли не близорукий, то, может, у него, — ну, скажем, трахома?

Все по-своему очень логично. Мысль слегка отступает назад, на исходные позиции, заодно чрезвычайно характеризуя всем нам знакомое состояние человека из очереди, имеющего время для неповоротливых и праздных размышлений. Да и следующий виток хоть неожидан, но исподволь весьма подготовлен:

«Вот он надел очки, чтобы его было хуже видать».

И наконец:

«А может быть, он служит на оптическом заводе и там даром раздают очки».

Опять все яснее ясного, какой дурак откажется от дармового?..

Этот человек размышляет, как шахматист, только вчера научившийся различать фигуры: он не видит дальше одного хода. Он может сыграть конем, а потом поставить его на прежнее место.

В статье «О мещанстве» Горький сказал: мещанин мыслит автоматически, — учтем, что сказано в пору, когда люди были невысокого мнения о возможностях автоматов. И автоматизм мышления зощенковских персонажей (мельком мы этого уже касались) в том, что они механически отзываются на все новое или непривычное, не проявляя при этом стремления к самообучению и обобщению.

Во всяком случае, вначале.

Поэтому они бывают забавно-трогательны. И смешно-страшноваты.

Ребенок, обладающий почти нулевым жизненным опытом, не отличает событий нормальных от необычных. Не знает, чему следует и не следует удивляться. Так и «средние люди» Зощенко, не имеющие не житейского, нет, но достаточного нравственного опыта. То попавший в город деревенский старик чуть было умом не тронется оттого, что постовой взамен того, чтобы наорать на него, отдаст — по инструкции — честь. То герой повести «Коза» Забейкин, которого толкнет невзначай прохожий, а толкнув, извинится, тоже долго не придет в себя от изумления:

«Что это? — подумал Забейкин. — Чудной какой прохожий. Извиняюсь, говорит... Да разве я сказал что-нибудь против?.. И кто же это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый... Извиняюсь, говорит. Ах ты штука какая!»

Тут нам трудно не узнать себя самих: рабскую, случается, нашу благодарность, которую вдруг испытаете к необсчитавшему кассиру или ненахамившему продавцу — за то, что они не... не... не... Но зоркий и трезвый Зощенко видит и иные смешения — и смещения — того, что естественно, и того, что неестественно.

«Не царский, говорю, режим шайками ляпать», — патетически заявит персонаж знаменитой «Бани» и тут же сам уворует шайку у зазевавшегося. А сторож, обокравший магазин и потрясенный тем, что под эту кражу слишком много списано, тот и вовсе: «Я, говорит, не позволю иметь такое жульничество под моим флагом. Я стою на страже государственных интересов. И меня, как советского человека, возмущает, что тут делается, — какая идет нахальная приписка под мою руку».

Самое замечательное, что оба искренни. Пока. Однако, как водится, все на свете имеет свое продолжение и развитие.

Вряд ли есть среди зощенковских рассказов более известный и по справедливости считающийся более смешным, чем «Монтер», тем не менее перестраховочно напоминою фавулу. Заглавный персонаж смертельно обиделся на театрального администратора, не допустившего на оперный спектакль знакомых монтеровых барышень; растравил свое оскорбленное сердце воспоминанием, что когда труппу «сымали на карточку», его приткнули где-то сбоку, усадив в середку тенора, — и отомстил, вырубив в театре свет. Причем свою месть воспринял как осуществление исторической миссии гегемона:

«Думает — тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету!»

Гениально простая фраза — именно эта, про теноров, — оказалась всего только легким заострением могущественного изречения: «У нас незаменимых нет». От реальности до гротеска оказалось не так уж и далеко, а вернее сказать, от гротеска до реальности, ибо зощенковская фраза прозвучала несколько раньше. То есть Зощенко, чей герой по обыкновению автоматически воспринял прекрасную идею равенства, не спародировал, а предугадал лозунг, который вскоре станет царить. Предугадал не по внешней схожести, а по самой сути: ведь автор фразы «У нас незаменимых нет» умело демагогически скрыл за броским показным демократизмом ее антиинтеллигентскую, антиличностную сущность, ее диктаторскую ставку на быдло, которое своей универсальной заменяемостью обеспечивало незаменимость вождю.

То, что Сталин, поощряя и организуя собственное обожествление, считал необходимым время от времени напоминать о вреде культа личности, вряд ли было стыдливостью согрешившего марксиста. Многие иные заповеди учителей он отменял, и не думая оправдываться.

Сталин был действительно врагом культа личности — в реальном, нефиктивном смысле; личности как человеческой незаурядности и самобытности. Именно потому он упрощал, автоматизировал отношение Маркса к роли личности в истории, и общественная атмосфера, которую мы кратко называем культом личности, не могла обойтись без культа **безличности**.

«У нас незаменимых нет»... Да, на этот постулат возлагалась немалая надежда, и согласно ему личность не выдвигалась сама, провидя и угадывая (по Марксу) объективные законы истории и живые импульсы движения масс, — ее самое выдвигали и назначали выдающейся или вели-

кой. Притом чаще не за самобытность и самостоятельность, а за их отсутствие.

Воспитывался культ не человека, но места, не личности, но поста. Вместе с назначением на пост присваивались и соответствующие качества. Тому, кто взобрался на верхнюю ступень, естественно, вручались звания величайшего гения, корифея, ученого, полководца всех времен и народов вплоть до наименований более частного порядка вроде «лучшего друга советских физкультурников (сам я мальчишкой выкрикивал в общем спортивном хоре это смешное приветствие, разумеется, и не подозревая, что оно когда-нибудь покажется смешным). Те, кто стоял пониже, как пайком, награждались званиями местного и специального значения: «первый маршал», «железный нарком», «глава мичуринской биологической науки», — причем, конечно, фактическое соответствие избранных их званию было совсем не обязательным, и если, скажем, палаческая роль Ежова все-таки имела касательство к «железу», то Лысенко объявлялся великим биологом вопреки всему, начиная со здравого смысла и элементарных норм ученой этики.

А если Трофима Денисовича можно назначить «главой», то — фантазируем за компанию с зощенковским монтером — отчего бы его самого не определить в тенорá? А тенора не переквалифицировать в монтеры? Так что не такие уж это и фантазии. Ведь теноров нынче... то бишь незаменимых — нет! Сегодня — ты, а завтра — я¹.

Замечу кстати: это вовсе не значит, будто послезавтра — снова ты. Черта с два! Уравниловки, как мы говорили, добиваются вовсе не ради справедливости, истинным равенством тут и не пахнет, и плохой работник, плохой человек, несправедливо, незаработанно уравнивая свое положение с хорошим, на этом не успокоится. Не бывает такого. Вспомним шариковское: «Взять все, да и поделить...»; вспомним и то, что на самом деле дележки ему мало, и покуда он не выживет из квартиры и не сживет со света своего необдуманно благодушного создателя профессора Преображенского, он не удовольствуется и не утихомирится.

А зощенковский монтер? Он таит зависть к тенору, который, без сомнения, производит на его знакомых барышень большее впечатление, и, казалось, тут ничего не поделаешь: ну, не дал бог таланту. Но вот он хватается за фальшивую идею автоматической уравниловки, и с этой ми-

¹ Жизнь не стоит на месте, и вот, как говорится, свежие вести с полей. С боевых. Вот прямая иллюстрация и к зощенковскому рассказу, и к фразе насчет отсутствия незаменимых:

«Бывая в творческих организациях, вижу, как часто прямолинейное, примитивное понимание демократии работает против перестройки... В Свердловском театре оперы и балета... многие артисты хора восстали против талантливых художников... (Замечание в скобках: восстали даже не на теноров и баритонов, а бери выше, на главного режиссера и главного дирижера. — Ст. Р.) Но... в Октябрьском райкоме партии Свердловска мне так и сказали: «Хор — это рабочий класс театра...». Валерий Кичин, «Советская культура», 1987, № 81.

нуты может стать опасен, потому что, не таясь, поднимает свое мелкое, дурное чувство, как знамя.

Тем более что здесь неизбежна эволюция сознания в согласии примерно с такой формулой. Теноров, как сказано, нынче нету. Стало быть, все равны. Значит, я не хуже прочих. Значит, и иметь я должен не менее, чем они. А если я имею меньше, значит, эти сволочи (скажем, тенора, доценты, очкарики или инородцы) словчили. А раз словчили, выходит, я лучше их. Ну, а уж поскольку я лучше, то и иметь я должен больше их...

Ведь складно?..

Исследователь-испытатель человеческой породы, Зощенко подглядывал одно из любопытнейших превращений традиционного «маленького человека». Его переход в состояние «маленького чиновника».

В той же «Бане» банщик, не соглашаясь выдать пальто по веревочке от номерка (сам бумажный номерок «смылся»), говорит: «Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревочку — полть не напасешься». И словно огромной, страшной тенью, отброшенной им, окажется в «Голубой книге» Люций Корнелий Сулла, раздраженный тем, что платный убийца принес ему «не ту» голову, голову человека, не числившегося в проскрипционном списке: «Это каждый настрижет у прохожих голов — денег не напасешься».

Да, грозный тиран и ничтожный коммунальный служащий как бы включились в одну игру. Банщик ведь тоже ощущает себя властью, — как-никак и от него нечто зависит. Ну, пусть не жизнь человека, но судьба его одежки. И вольно герою рассказа молить, чтобы ему выдали его собственные, не чужие штаны: «Граждане, — говорю. — На моих тут дырка была. А на этих эвон где. — А банщик говорит: — Мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит».

Он (банщик!) уже ощутил себя государственным лицом наподобие бюрократа, и просителя воспринимает соответственно бюрократически-абстрактно: тот для него не живой человек, имеющий право на свои кровные штаны, а человеко-единица, которой надобно вручить не более чем единицу хранения, и сама просьба признать право на личную собственность и на существование «незаменимой» индивидуальности для него безмерно удивительна... Впрочем, еще откровеннее, так, что дальше и некуда, выскажется в другом рассказе другой бюрократ, принявший на сей раз обличье «лекпома», фельдшера:

«Нет, говорит, я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания».

Что и мудро: в бессознательном состоянии (бессознательном физически — или морально, нравственно) человек лишен решительно всего личного, индивидуального, и ничто не мешает ему быть безличной, единичной функцией. В таком виде он не раздражает маленьких функционеров ежедневными проявлениями элементарных потребностей: тем,

что хочет есть, пить, иметь крышу над головой. Да еще такую — наглец! — дабы она не протекала.

Изображая все это, «юморист» Зощенко, «король смеха», «славный, веселый Миша», как обращались к нему поклонники, жёсток, сух, горек, даром что смешон. А возможно, это для нас, нынешних, все отчетливее проступают горечь и жесткость, — такова вообще судьба юмора, который нередко уходит вспять вместе с породившими его реалиями ушедшего времени. Есть даже легенда — вряд ли достоверная, но наверняка правдоподобная, — будто где-то за границей впервые перевели Зощенко, не сумев, что понятно, передать своеобразие его языка и не зная примет нашей вчерашней действительности; перевели и изумились:

— И это в России считают юмором? Но тут же драмы, трагедии, как у собственного их Достоевского! Или у Кафки!..

Что ж, Достоевский, который в разговоре о Сухово-Кобылине мог вспомниться разве что от противного, тут-то не с ветру взялся.

Белинский назвал его, молодого, «поэтом, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах». К Зощенко не приложишь ни «поэта», ни «музы», да и глагола «любит». И все же...

Для весело-победительных Ильфа и Петрова все обитатели их Вороньей слободки в равной степени не заслуживают сочувствия. Камергер Митрич и князь Гигиенишвили — такое же отвратительное наследие старого мира, как коечница Дуня и ничья бабушка, и сама Слободка словно увидена, как муравейник с птичьего, а вернее, аэропланного полета. Такой ее видит и презирает ее случайный жилец герой-летчик Севрюгов.

Что до зощенковских персонажей, то почти все они и есть «слободчане», или, по его собственному определению, «прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством». И хотя коммунальные потолки и квадратные метры снижают и сужают разворот страстей, в Вороньей слободке обнаруживаются свои Ричард III, Гарпагон, Дон Жуан или Гамлет. Для какого-нибудь инвалида Гаврилыча кухонная битва — то же, что для Наполеона Ватерлоо. Даже исход тот же...

Признаемся: мы сильно напутали, безадресно, в кого попало тыча жупел «вещизм» и кличку «обыватель», — так что даже Ярослав Смеляков, рабочая, пролетарская косточка, единожды не выдержал и яростно, как он умел, обрушился на наклеивателей ярлыков, заодно воскресив ничуть не обидный корень клеймящего прозвища: «...Не стесняюсь повторить, что и сам я обываю и еще намерен быть». А другой — уж поистине совсем другой — поэт, Николай Олейников, когда-то сочинил четверостишие под притворно возмущенным названием «Неблагодарный пайщик»:

Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал домогаться селедок с крупой.
Типичная пошлость царила
В его голове небольшой.

Вот, дескать, каков хапуга! Все ему, ненасытному, мало, — не пора ли дать по загребушим рукам? Но нет. Как окончательно выяснилось сегодня, не дать по рукам, а дать в руки оказалось — помимо всего прочего — неотложнейшей задачей политики: «Для того, чтобы вдохнуть веру в оздоровление экономики, уже в ближайшее время необходимы успех, ощутимые, видимые всем признаки улучшения жизни. Прежде всего должен быть насыщен рынок...» — из статьи экономиста Николая Шмелева, «Новый мир», 1987, № 6.

«Страшнее Врангеля обывательский быт», — сказал Маяковский. И оказался прав во всех смыслах, включая, может быть, и неожиданный для него самого. Врангеля достаточно разбить один раз, а «обывателя» нужно кормить каждый день. Больше того: его право «домогаться селедок с крупой» надобно не просто принимать по печальной необходимости во внимание, а уважать. И еще больше: ценить. Дорожить им!

Однако, кажется, я сказал: нужно кормить? Если так, да будет мне стыдно.

Вот типичный разговор в сегодняшней или вчерашней магазинной очереди. Стоит кому-то заворчать насчет длины очереди или качества колбасы, как тотчас откликнется какая-нибудь добрая душа:

— Ну, грех жаловаться! То ли еще в войну было!

Или:

— Вон сколько нас миллионов! Попробуй накорми всех!

Будто кормят они не сами себя. Не своим трудом.

Люди добры, — это прекрасно. Люди не любят жалобщиков. Вообще: «Человек не блоха — ко всему может привыкнуть» (из Зощенко). Вот только: хорошо ли, что ко всему?

Вопрос, между прочим, отнюдь не отвлеченный, а сильнейшим образом волнующий нынешних реальных политиков, социологов, экономистов. «Понимание социализма как общего котла, черпая из которого народ благодарит государство за заботу о себе, достаточно примитивно и является не чем иным, как пережитком феодального сознания», — это Геннадий Лисичкин в № 23 «Литгазеты» за 1987 год. И он же там же, только в № 26: «...Большинство рассуждает очень просто. Вкалывать? А зачем? Чтобы больше зарабатывать? А зачем? Крыша какая-никакая над головой есть, элементарная сытость каким-то образом более чем обеспечена. Иными словами, происходит затухание роста потребностей, а вместе с ним и ритма обновления жизни, роста производства». Вот оно как!

То есть вышло — уже в исторической реальности, а не в выдуманном рассказе, — что персонаж зощенковской «Бани», спервоначалу робко

взбунтовавшийся в надежде обрести при выходе свои, родные штаны, в конце концов как бы согласился с доводами «маленького чиновника», банщика. Помните? «Мы, говорит, за дырками не приставлены». Бери, что дают. И пока дают.

Но прежде, чем стать неумолимой реальностью, произошло это все-таки в рассказе. Собственных притензии «среднего человека» очень быстро сменились «затуханием роста потребностей»:

«Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальто...»

А герой другого рассказа, потерявший в трамвае галошу и не имеющий возможности получить ее сразу обратно, без удостоверений и справок, хоть и измучен шатанием по канцеляриям, но тоже покорен. Даже, представьте себе, доволен!

«Одно досадно, за эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под мышкой в пакете — и не помню, в каком месте ее оставил...»

Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно, — взглянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает».

Он не иронизирует. Смеяться, сердиться и горевать за него приходится автору, а стало быть, и нам, читателям. Он же просто усвоил наконец тот взгляд, который ему внушали многие, начиная снизу, с «маленьких чиновников». Поверил, что налаженность работы аппарата, направленной, как его уверяют, на его человеческое благо, куда важнее того, что своей галоши он лишился-таки.

Конечно, среди зощенковских персонажей немало, как было сказано, крохотных кухонных Гарпагонов, Шейлоков, Гобсеков, готовых глотку перекусить тому, кто на полминуты позаимствует их собственный ежик для чистки примуса. Или из-за квадратного метра жилплощади — уныло-безличных слова и понятия, вошедших в жизнь одновременно с героями Зощенко (не «дом», даже не «квартира» — «площадь»). Или и т. д. Но поразительна пронизательность этого «короля Смеха», чье художественное зрение обострено традиционной для отечественной литературы братским сочувствием к человеку, как его ни именуй, «маленьким», «средним», «униженным» или «оскорбленным», — поразительна, говорю, его пронизательность, нынче в особенности внятная нам. Та, которая так давно, так рано сумела осознать, что вышеупомянутый автоматизм, свойственный, по замечанию Горького, «среднему человеку», далеко не только смешон. Не только досаден. Он и понятен, даже по-своему трогателен — как средство самозащиты.

Перечтем повесть «Коза». История, кажется, проще простого и наглядней наглядного: мелкий человечико с соответственной фамилией «Забегжин» решил жениться, прельстившись, однако, не самой «гранд-дамой», то есть чудовищной бабицей-домовладелицей Домной Павловной, а ее козой, — и преуспел было, как вдруг обнаружилось, что коза-то принадлежит жильцу, и Забегжин, не сумевший скрыть отчаяния, был изгнан.

Законченный стяжатель, не так ли? Но вот тонкость: ведь коза — сущий пустяк сравнительно с домом и всем имуществом Домны Павловны. И выходит, что одержим был Забежкин не жадностью (жадность расчетлива, она такой промашки не даст), но истинной страстью — выжить, устоять, утвердиться в мире. Он не хитрец, куда там. Он фанатик. Он, так сказать, протопоп Аввакум единственной известной ему формы устойчивости — собственности. И коза для него измеряется не рублями, которых стоит; она воплощает все, чего недостает этому бедняге: домашнее тепло, кров, защиту.

Смешон Забежкин? Конечно. Но и достоин сочувствия, которое дарит ему Зоценко, наследник породившей его гуманнейшей из литератур.

И мало того, то есть писателю Зоценко мало. Ибо пресловутый, неосмысленный, бездуховный автоматизм, то смешной, то, бывает, трогательный, еще и опасен. Для самого человека. И, как мы, кажется, убедились, для общественного развития. Потому что этот «мещанин», «обыватель», которого фельетонисты и карикатуристы привыкли изображать зверюгой-собственником, пугая его невинным и (как опять-таки выяснилось) даже общественно полезным понятием «частник», он, наоборот, способен, а то и склонен отказаться от права личной собственности, сперва послушно, затем и охотно олицетворив собою «затухание роста потребностей». Вспомним статьи Лисичкина: «Вкалывать? А зачем? Что бы больше зарабатывать? А зачем?»

Кстати-то сказать, подслушанный мною — да и многими, без сомнения, слышанный — разговор в очереди, не порожден ли он также и трезвым сознанием, что «вкалывая» так, как они привыкли «вкалывать», миротворцы в самом деле не зарабатывают и на неважную колбасу? Так что их действительно кормят.

...В мировой литературе обычно сходились как психологические противоположности (даже если им, противоположностям, случалось дружить, как Дон Кихоту и Санчо Пансе) воплощения, так сказать, Духа и Брюха, высочайшего духовного полета и приземленной здравомысленности. Двадцатый наш век и сюда ухитрился внести поправку — причем какую! Возник, к примеру, бравый солдат Швейк, грандиозное создание еще одного «юмориста». «Средний человек», чешский «обыватель», выражаясь в привычно-презрительном роде, вдруг оказался не спутником, не вторым номером при некоем Рыцаре Печального Образа, а как бы занял его место. Стал и. о. Дон Кихота.

И как сервантесовский рыцарь почитался безумцем не только за действительные чудачества, но и за поступки, направленные добром и исполненные добра, так же и Швейка объявили, притом официально, идиотом. За что? Лишь за то, что автоматически (опять!), не рассуждая (вернее сказать, притворяясь нерассуждающим автоматом), он буквально исполняет приказы своих начальников, прилежно доводя их до абсурда. До пародии. Выявляя их скрытую от многих глаз нелепость.

Толстой и Ганди учили непротивлению. Швейк превратил непротивление Австро-Венгерской монархии в коварное, провокационное посябничество.

А может быть, и «средние люди» Зощенко — чуточку Швейки? В конце концов не спародировал ли известную псевдодемократическую фразу памятный нам монтер? И разве не обнажал бессмысленность канцелярской круговерти человек, терявший галошу, которая была ему дорога, «как память о потраченных деньгах», но не терявший благоговейной веры в необходимость бюрократической машины, производящей пустоту?

Но нет. Сходство-то есть, однако обманное.

Швейк, обобщенный и обобществленный тип, великолепная и убедительная фантазия, художественно и физически бессмертен: в мире, созданном писателем Гашеком, невозможно представить не только что Швейкову гибель, но и безвыходное — для него — положение. За него можно не волноваться, да мы и не волнуемся, мы ждем новых пародий, новых веселых провокаций, новых побед. Смешным, жалким, жалко-смешным героям Зощенко такая неуязвимость не подарена. Им не до сатиры. Не до жиру — быть бы живу. Потому что они и есть **живые**, телесно-объемные, наделенные кровотокающей плотью, принадлежащие настоящей, нашей жизни. За них надо бояться, об их судьбе надлежит беспокоиться, — мы это и делаем, ибо, во-первых, нам дал такую возможность их автор и, во-вторых, стократ обязало наше время, четко, сурово и оптимистически высветившее многое из того, чего прежде не видели, не хотели видеть, от чего отворачивались и заслонялись.

Время, высветившее среди прочего и новую, важную, насущную современность и правоту «славного, веселого Миши»... Впрочем, шутки — тем более устаревшие — в сторону: правоту и современность одного из великих реалистов двадцатого века, Михаила Михайловича Зощенко.

СОДЕРЖАНИЕ

...Все разрешено?	3
Расплюев везде	15
Средние люди	37

Станислав Борисович РАССАДИН

РАСПЛЮЕВ И ДРУГИЕ

Статьи

Редактор О. Н. Хлебников

Технический редактор Л. С. Алексеева

Сдано в набор 24.06.88. Подписано к печати 15.08.88. А 10391 Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл.
кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,30. Тираж 150 000 экз. Зак. № 2666. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.